

Инна
Калабухова

Бедный Юрик



Инна Калабухова

Бедный Юрик

«Алетейя»

Калабухова И. Н.

Бедный Юрик / И. Н. Калабухова — «Алетейя»,

ISBN 978-5-907189-79-9

В новой книге Инны Калабуховой соединились противоположные друг другу истории: подробная биография талантливого, обаятельного юноши, которую трагически разрушает душевная болезнь, и романтическая повесть о любви, в которой служебно-бытовые подробности переплетаются с авантурными неожиданностями. Быть может, главная писательская особенность Калабуховой состоит в том, что она пишет о тех, кого помнит и любит, а поэтому среди ее литературных героев нет второстепенных, эпизодических персонажей, а читатель это мгновенно замечает, потому что чувства автора передаются и ему самому. Крохотная, мимолетная подробность, выхваченная лучом памяти из калейдоскопа мелочей, вдруг преображает событие, делает его сопоставимым с тем, что не понаслышке знакомо читателю. Так происходит сближение времен и судеб, что придает манере писательницы необыкновенное очарование.

ISBN 978-5-907189-79-9

© Калабухова И. Н.

© Алетейя

Содержание

Любовь, как роза красная...	5
Конец ознакомительного фрагмента.	43

И. Н. Калабухова

Бедный Юрик

Любовь, как роза красная...

Повесть

Не раз слышала, да и сама утверждала, что браки заключаются на небесах. Но вот сегодня, собравшись рассказать историю собственного замужества, обнаружила, какая титаническая работа предстоит этим Паркам (или как их там в действительности величают?), чтобы сначала спрясть нити двух судеб, потом соединить их, вопреки времени и житейским обстоятельствам, преодолевая тысячекilометровые расстояния, горные хребты и водные глади. Работа одновременно утомительно тяжелая и ювелирно тонкая. Да еще нужно точно выбрать место, время. Не просто время – момент. Чтобы все концы сошлись, все пазлы сошлись.

Например, для того чтобы в пятьдесят девятом году познакомить меня с Генрихом, пришлось в начале тридцатых в Ростове-на-Дону сплотить компанию молодых интеллектуалов, увлеченных больше всего на свете литературой. Это были Миррочка и Вениамин Жаки, сестры Елена и Алита Ширман, Вера Панова, Саррочка Коренблат. Участвовали в этом сообществе еще какие-то персоны, но в мою судьбу они не попали, так что обойдем их молчанием. Из выше же перечисленных Вениамин Жак стал известным детским поэтом, Вера Панова – крупнейшим советским прозаиком. Взлет поэтического дара Елены Ширман был прерван в сорок втором году фашистской пулей, а Саррочка Коренблат, уже под фамилией Бабеньшева, превратилась из школьной учительницы в литературного критика, постоянного автора «Нового мира».

Теперь забудем об этих людях, во всяком случае о большинстве из них. Об их творчестве и личных биографиях. Остановимся только на тех, кого предусмотрительные Парки стали двигать на шахматной доске жизни специально для меня.

Например, Сарра Бабеньшева оказалась во время войны в Ставрополе (не в том, что на Кубани, а в его маленьком тезке на Волге) и там устроилась на работу в институт военных переводчиков, тоже эвакуированный, только из Москвы. Когда же переводчики засобирались в обратный путь, Сарру Эммануиловну, как замечательного педагога, руководители института позвали с собой в столицу.

Тут завязывается уже новая интрига, с новыми персонажами, уже из следующего поколения. Это – дочка Сарры Бабеньшевой Инайка, сын Алиты Ширман – Дима Резников. И вдруг, откуда ни возьмись – я. Правда, тоже ростовчанка. Однако из совсем иной, служилой среды. Но силой обстоятельств меня с бабушкой в сорок пятом году тоже отправляют в Москву, из послевоенного, голодного, холодного (в смысле – не отапливаемого) Ростова под крыло к дяде, инструктору ЦК партии, на его цековские пайки, в его тесную, но безусловно теплую комнату в общежитии ВПШ. Плюс еще – казенная дача в Кратово.

Но фишка не в этом. А в том, что меня определяют в сто тринадцатую школу, где я свожу страстную, как и положено книжным девочкам-подросткам, «на всю жизнь», дружбу с Викой Швейцер. Тут пока нет никаких следов божественного вмешательства. Общежитие ВПШ расположено на Миусской площади. Викина семья живет на Васильевской улице, возле Тишинского рынка. Сто тринадцатая школа находится на 2-й Брестской. То есть, оказавшись по чистой случайности в одном административном районе, мы становимся одноклассницами.

Через полтора года я возвращаюсь в Ростов. Мы с Викторией то переписываемся, то прерываем переписку. То я приезжаю на каникулы в Москву, а она оказывается в Артеке. Как дочь старой большевички. И встреча не случается. То Вика собирается летом ко мне в гости (уже,

наверное, в студенческие годы?). Но у ее небогатых родителей не наскребается на билет. Так тянутся эти вяло пульсирующие отношения. Но окончательно не прерываются. Ждут своего часа. Своего предназначения.

Окончив школу, мы обе поступаем на филфак университета. Вика – в Москве, я – в Ростове. Вот теперь понадобилась Инайка. Она оказывается с Викой в одной студенческой группе, потеряв для этого совпадения школьный год в эвакуации. Впрочем, в этой детали пока нет ничего специального. Год-два – обычные пробелы в школьных биографиях моих сверстников. Дружит Вика с Инайкой так же бурно, как и со мной. В ее письмах это экзотическое имя в студенческие годы встречается так часто, что я воспринимаю неизвестную девушку уже как хорошую знакомую.

А где-то на обочине этого сюжета существует Дима Резников, родители которого, несмотря на разницу местожительства, поддерживают дружеские отношения с Бабеньшевой. А Инайка приятельствует с Димой в Москве. Тем более что он тоже учится на филфаке. Только в Вильнюсе. Дело в том, что Дима в сорок восьмом году поступил в РГУ, где преподавали его мать и отец. Но последнего, завкафедрой философии, в сорок девятом году сначала уволили как протаскивающего в своих лекциях троцкистские идеи, а потом и арестовали. Поэтому Диме пришлось искать приют своим литературным способностям в либерально-демократической Литве. Но все это пока без меня.

Но вот умер отец народов. Припекает августовское солнышко пятьдесят четвертого года. Вика, Инайка и я перешли на последний курс университета. И не ранее, не после (обратите внимание, Парки уже встрепенулись и взялись за работу!) Викина мама собралась вместе с дочкой навестить родственников в Воронеже, который находится ровно на полпути между Москвой и Ростовом. То есть цена билета вдвое дешевле. И Вика извещает меня, что приедет на пару недель. Как здорово! Я только что напилась впечатлениями от альплагеря! И вот еще такое чудесное событие!

Встреча была самая пылкая! И чувства наши, оказывается, не растратились, и общность интересов никуда не делась. Я захлеб рассказываю Вике про особых людей – альпинистов, про этих современных рыцарей. Ничуть не хуже романтических героев наших школьных книг. А Вика открывает мне, темной провинциалке, новые, незнакомые имена и строки: Слуцкого, Мартынова, Гудзенко. И старые. Например, Багрицкого. Егото я читала. Но что? «Смерть пионерки», «Звезда мордвина». А московская подруга декламирует мне страницы из сборника «Юго-Запад»: «Тиль Уленшпигель», «Контрабандисты», «От черного хлеба и верной жены», «Встреча».

Но дело, конечно, не в этом. Инайка, уже записавшаяся в мою судьбу, попросила Вику навестить в Ростове ее друзей. Точнее, друзей ее матери. Среди которых: супруги Жаки, родители одного мальчика из пятидесят первой школы, с которым я знакома и в которого влюблена моя одноклассница, но главное, sic! Алита Михайловна Ширман-Резникова, ее муж Лазарь Моисеевич и их сын Дима.

Вот уж этот визит был безусловно подготовлен высшими силами. Если бы Вика посетила меня в пятьдесят втором или хотя бы в пятидесятом году, ей бы не давали подобных поручений. В это время Лазарь Моисеевич находился в лагере, а Дима – в Вильнюсе. Им, кстати, и в августе пятьдесят четвертого еще не полагалось быть в Ростове. Политическая реабилитация началась только после двадцатого съезда, а массовая вообще в пятьдесят седьмом. Просто Алита Михайловна с первого дня после ареста мужа проявила такую активность, такое бесстрашие, что от назойливой жены философа-псевдотроцкиста поспешили избавиться при первой возможности. Дима же, закончивший Вильнюсский университет, приехал в родной дом как раз по случаю освобождения отца.

Уж не знаю, что сделали Парки, чтоб я познакомилась с Димой? Уморили Сталина? Вложили в грудь Алиты Михайловны вместо сердца пламенный мотор, а также ниспослали ей

знание каких-то правильных ходов для запросов и жалоб? Но цель была достигнута. Вика Резниковых посетила. И я тоже. Мы совершили какую-то коллективную вылазку с Димой и его приятелями на левый берег Дона. И, кажется, в театр. Вскоре Вика отбыла в Воронеж, а уж оттуда – в Москву. Нам с ней еще предстояло встречаться, переписываться и сохранить дружеские отношения по сей день. А также я должна была вскоре через нее познакомиться с Инайкой Бабенышевой, обнаружить в той абсолютно родственную душу, съездить с ней параллельно, хоть и врозь, на Алтай, и дальше развиваться по какому-то единому плану, похожей программе, благодаря чему мы стали совпадать до кончиков ногтей. Но к моему замужеству ни одна, ни другая в дальнейшем не имели никакого отношения. Они свою небольшую роль выполнили в свое время, на своем месте, абсолютно точно. Теперь на сцену вышел Дима Резников.

Я забыла о его существовании сразу после Викиного отъезда. Не то чтобы он мне не понравился. Такой милостивый, чистенький, интеллигентный, образованный юноша. Последнее качество было мною безмерно ценимо. Но все должно происходить кстати. Между тем, осенью пятьдесят четвертого у меня и друзей хватало, и любовь имелась. Пускай без взаимности, но очень романтическая.

Когда Дима неожиданно зашел к нам в дом теплым сентябрьским вечером и пригласил посмотреть новый фильм с Аркадием Райкиным, я была несколько удивлена, но согласилась.

Нет, Дима не замучил меня визитами. Их было, наверное, с полдюжины. Раза три заходили к нему домой. Кроме посещения кино, состоялась вторая вылазка за Дон. На этот раз с моей компанией – университетскими альпинистами. И я его пригласила. Ничего особенного не случилось. Зато на следующий день Дима затеял со мной настоящий философский спор: чему служат, чему должны служить наши выходы на природу – получению удовольствия или воспитанию характера? Мой новый знакомый издевательски описывал все эти карабканья на голые вершины, пот, застилающий глаза, дрожание в тощих спальных мешках, волдыри на пятках, паданье без сил в конце маршрута, когда не радуют уже никакие пейзажи и невозможны никакие разговоры. И смаковал неспешные путешествия по заведомо удобным, красивым местам, с длительными привалами у костров, с чтением друг другу стихов, с мимолетным (или продолжительным) флиртом, с поспешным возвращением при испортившейся погоде под надежный кров, с жизнью в свое удовольствие, а не вопреки ему.

Я же, конечно, отстаивала подвижничество, аскетизм, терпение и целеустремленность, все те качества характера, которые вырабатывают в школе альпинизма. Хотя сама, между прочим, была в ней ученицей посредственной и дальше подготовительного класса не продвинулась. И тем более восхищалась успешными, блестящими мастерами.

Но хотя мы так и не пришли к общему знаменателю, разговаривать с Димой мне было интересно. Причем интерес зарождался обоюдный. В следующий вечер мы просто бродили по городским улицам и спорили теперь уже о поэзии. Дима читал мне поэтов Серебряного века. А я, которая их имена знала только понаслышке (слава богу, хоть в запаснике университетской библиотеки, куда меня пускали, мне однажды попался сборник Бориса Леонидовича с поэмами «Лейтенант Шмидт» и «1905 год», и я смогла процитировать по памяти: *«Москва. Пикеты. Тьма. Поэты еще печатают тюки стихов потомкам на пакеты, и нам для кеты под пайки»*), тут же с апломбом заявила, что широкому читателю все эти изыски не нужны, стихи надо писать так: *«Мы с тобою не дружили, не встречались по весне. Но глаза твои большие не дают покоя мне»*.

После демонстрации мной такого невежества и абсолютного отсутствия вкуса было бы естественно для продвинутого эстета прекратить наше знакомство. Но Парки, зная, что Дима им в дальнейшем понадобится, позаботились, чтоб ему некуда было от меня податься. Он все свои юношеские годы пользовался успехом у ростовских (и не только) барышень. Привык к нему, ценил его, считал совершенно необходимой составляющей своей жизни, как чтение хороших книг, как прогулки по красивым местам. Но за время его пятилетнего отсутствия в Ростове

былые его поклонницы кто вышел замуж, кое-кто даже детей родил. Другие уехали по распределению. Приходилось довольствоваться таким второсортным экземпляром, как я. Утешало только то, что внешность у меня была почти удовлетворительная, литературой я все же интересовалась, и даже каким-то боком, например, в западной литературе, оказалась весьма начитанна. Но, я думаю, больше всего Диму подстегивал спортивный азарт: что же эта вполне заурядная девица не поддается его обаянию?

Действительно – что же? Ведь в Диме, я уже писала, было много такого, чем полагалось обладать моему выдуманному «предмету». И возможно, через пару месяцев он преодолел бы мое предубеждение. Но опять же наше знакомство длилось ровно до тех пор, пока я была защищена от обаяния рафинированной поэзии и глубокомысленных разговоров воспоминаниями о суровых альпинистах. Я с удовольствием прочла весь довоенный сборник Багрицкого «Юго-Запад», обнаруженный в библиотеке Диминых родителей. С любопытством слушала и запоминала блатные песенки, которые новый знакомый напевал во время наших ночных прогулок: «Кто тебя по переулкам ждал, по ночам от холода дрожа?..» Излагала ему сюжет своего ненаписанного рассказа. Но не более того. И когда в конце октября Дима исчез с моего горизонта, я восприняла это как само собой разумеющееся.

И вдруг получаю открытку от его мамы Алиты Михайловны с просьбой зайти к ним. Захожу, как благовоспитанная девушка, и узнаю, что Диму, как учившегося в Литве на вечернем (или на заочном?) и не посещавшего военную кафедру, призвали в армию солдатом и он уехал на Дальний Восток, не успев со мной попрощаться, но оставил мне в подарок книжку «О писательском труде». А недавно сообщил свой воинский адрес и попросил передать его мне. И что она, Алита Михайловна, думает, что с моей стороны было бы добрым делом – написать ее сыну письмо.

Могу рассказать, как я переписывалась с Димой. Сначала вяло, изредка, из побуждений филантропических. Да тут еще дипломная работа, пробивание поездки на целину, госэкзамены. Зато обосновавшись в Бийске, вдали от родных и друзей (пока не обзавелась новыми, да и когда обзавелась), я превратила переписку в отдельный, важный фактор своей жизни. Она заменяла мне дневник да еще служила бездонным колодезем, из которого доносился отзвук на все мои мысли и чувства, брошенные в его глубину. И в этом смысле Димины письма были из наиболее интересных. Ему, видать, тоже не хватало собеседников на армейской службе. А среди мобилизованных в корреспонденты друзей и подруг я оказалась не самой худшей. Таким образом, мы обменивались десяти-пятнадцатистраничными посланиями до конца Диминой военной службы. Потом переписка резко застопорилась с его стороны, а вскоре вообще увяла. Надобность во мне у него прошла. Я тоже сочла это естественным финалом знакомства, не подозревая, что просто Дима уже сыграл ключевую роль в моей судьбе и поэтому сдан в архив.

А сделал он вот что. Редакция, в которой я трудилась, находилась на главной улице Бийска. Естественно – Советской. Как раз напротив местного пединститута. И вдруг Николай Васильевич Журавлев, наш замредактора, мой учитель и покровитель, приводит ко мне пухленькую девушку лет двадцати пяти, которая меня разыскивает. Она представляется Надей Полежаевой, преподавателем пединститута, и вручает мне письмо от Димы Резникова. Он в те дни еще находился на Дальнем Востоке. Дима пишет, что учился с Надей на филфаке в Вильнюсе, и вот теперь она возвращается в свой родной Бийск и нам, наверное, будет интересно познакомиться. Далее следуют комплименты в адрес Нади. Как, я думаю, в письме, предназначенном Наде, было достаточно похвал мне. Кстати, уверена, что Надя тоже скрашивала своими письмами Диме суровые армейские будни.

С Надей Полежаевой мы сошлись легко. Я познакомилась с ней со своей компанией, она стала бывать у меня в гостях. Но понастоящему душевной близости у нас не образовалось. Надя была и начитанна, и воспитанна, и принадлежала к слою образованных людей, который был так тонок среди моих бийских знакомых. Но она оказалась настолько пресна, скучна, так оби-

жалась на шутки, так не умела шутить сама, что наши отношения с моей стороны держались главным образом на филантропии. И когда я через два года уезжала в Новосибирск, я легче всего рассталась с Надей. И не думала, что мы еще когда-нибудь встретимся. Я только всегда удивлялась этой серии совпадений: нужно было, чтоб Дима и Надя в одном году приехали учиться в Вильнюс с двух противоположных концов России, именно потому, что у обоих отцы были арестованы (Надин так и сгинул в ГУЛАГе). И чтоб Дима вернулся в Ростов именно в пятьдесят четвертом, а Надя в Бийск – в пятьдесят пятом, когда непредсказуемый крайком выбрал для меня на карте Алтая именно этот город.

Все прояснилось позже, в пятьдесят восьмом, когда Надя появилась в Новосибирске спустя восемь или девять месяцев после меня. История эта замысловатая и довольно противостественная, тоже явно кем-то сконструированная. Надя преподавала в пединституте историю искусств. Не знаю, нужен ли был этот предмет студентам, но в коллективе простодушных бийских коллег она смотрелась фигурой достаточно экзотической и претенциозной. Моя компания, в которую Надя все равно по-настоящему не вписалась, ко времени моего отъезда уже, считай, аннигилировалась. С тоски по творческой атмосфере Надя прибилась к только что созданному местному телевидению. Оно, кстати, появилось в Бийске даже раньше, чем в Новосибирске. Его запустили выходцы из Томского политеха, которые, поработав над первой в Сибири Томской телестудией, теперь решили раззудить плечо в новом месте своего пребывания. Надя им пригодилась как специалист по живописи. «Зрительный ряд» тогда считался «номер один» в телевещании. А ей так у них понравилось, она так загорелась, что решила полностью поменять судьбу, связав себя с новой музой. Но штат Бийской телестудии был крошечным и забитым под завязку. И Надя, подбадриваемая, подгоняемая Парками, вопреки своей вялости, робости, инертности, бросив в Бийске обихаживающую ее маму и собственную квартиру, переехала в Новосибирск, где только что появилось телевидение. Однако в те дни на телевидение ее не взяли. Туда Надя попала через год или полтора, когда закончились ее труды по устройству моей личной жизни. А пока ей предложили скромную должность литературного редактора в журнале «Известия Академии архитектуры и строительства». Надя сняла комнату (или угол) рядом со своей работой и одновременно – рядом с моей. Военный городок, в котором находилась моя редакция, пребывал в том же тупике Октябрьского района, что и строительный институт, приютивший Надин журнал. Это, безусловно, способствовало тому, что наши вялые отношения с Надей не прервались. Я изредка забегала к ней, еще реже звала ее к себе, опять же познакомила со своими уже новосибирскими друзьями, но совсем уж редко приглашала на коллективные сборища. Может быть, чуть чаще – на культпоходы в филармонию.

* * *

Параллельно прядлась другая сюжетная нить, ткалась новая материя. Я переехала в Новосибирск по приглашению окружной военной газеты. Взяли меня в отдел «Культуры, строительства и быта». Один из самых больших в редакции: целых три литсотрудника. Правда, все – вольнонаемные. Начальник, Михаил Николаевич Горбунов, когда я появилась, был всего лишь в чине майора, но закончив через два года Литературный институт, получил подполковника. Но не в этом дело. Главное, Горбунов был и человек интеллигентный, и организатор талантливейший, а как начальник в нужной пропорции сочетал в себе строгость и либерализм. Важно еще другое – отдел культуры, как ни странно, не считался в сугубо военной газете второстепенным. Статусу его способствовал не только Михаил Николаевич. Наш редактор, полковник Белоусов, не раз декларировал на планерках:

– Газета у нас молодежная. И должна быть читабельной, занимательной. Отделу культуры тут и карты в руки. Будете давать в каждый номер по рассказу, по рецензии на спектакль или фильм – место всегда найдем.

Не знаю, как насчет рецензии в каждом номере – обещание осталось без проверки, не было у нас столько рецензий – но стихи действительно печатались ежедневно. Или патриотические – на первой полосе, или лирические – на четвертой. И военкоровские, подправленные Горбуновым, и профессиональные, московских авторов, с теперь поблекшими, а когда-то гремевшими именами. Вроде Жарова, в семинаре которого учился не только Михаил Николаевич, но и еще парочка наших военных журналистов. А еще не забывали нас новосибирские писатели: Лисовский, Чикин, Стюарт, Сапожников. Их привлекала не столько возможность напечататься в пределах Западно-Сибирского округа, сколько большой, по меркам других газет, гонорар.

Впрочем, и другие материалы нашего отдела попадали на газетные полосы без промедления. И нередко вывешивались на «Доске лучших». Все наши инициативы приветствовались. Хотя приходилось попутно поднимать проблемы солдатского быта и строительные темы. Но культура была у Михаила Николаевича в фаворе. А заодно и я, потому что на всех этих рецензиях, военкоровском литтворчестве, конкурсах самодеятельности специализировалась.

И вот не помню, кому это стукнуло в голову? Скорее Горбунову, чем мне. У меня всегда мысли были коротенькиекоротенькие, пустяковенькие-пустяковенькие, как у Буратино. О, вот как это произошло: сидим мы как-то ночью в отделе визави. Михаил Николаевич в качестве дежурного офицера, я – «свежая голова». Ждем полосу. Начальник говорит:

– Инна, университеты культуры входят в большую моду. Почему бы нам такую рубрику не завести? И будем под нее толкать всякие просветительские заметки по литературе, музыке, науке. Какие захотим.

Сказано – сделано. И поручено мне. Всех материалов не назову. Только большую статью к юбилею Пуччини, написанную завкафедрой истории музыки консерватории Идой Яковлевной Пиккер, и что-то про открытия в радиофизике. Материал прислал из Ростова по моей просьбе студенческий друг. Я одним выстрелом убила двух зайцев: дала приятелю подзаработать и расцветила наш «Университет культуры» научной тематикой. Но рубрика и так уже завоевала аудиторию. Нам стали приходиться отзывы на статьи. В редакции нас тоже хвалили. Какой-то материал вывесили среди лучших. И вот – высшая точка успеха – пришел в отдел персональный заказ: *«Дорогая редакция! С интересом читаем в нашей газете раздел «Университет культуры». Не могли бы вы в этой рубрике ответить на интересующий нас вопрос. До войны много писали о строительстве Дворца Советов в Москве. Выпускали марки, открытки с его изображением. А теперь все заглохло. Хотелось бы узнать об авторах и судьбе этого проекта. Заранее благодарим. Ефрейтор Н. Скляр, рядовой М. Федоров».*

Горбунов вручил мне это письмо и приказал не откладывать работу в долгий ящик. «Только найдите хорошего автора», – добавил начальник.

Легко сказать: «Найдите хорошего автора». Но если среди новосибирских писателей, актеров, художников и музыкантов у меня уже водились кое-какие знакомства, то среди строителей, архитекторов – никого. И тут я вспомнила про Надю и ее журнал. Не скажу – потопала ли я к ней домой или позвонила на службу?

– Надя, – говорю, – мне нужен автор. Образованный, со вкусом. Владеющий пером. Рассказать в газете о несостоявшемся Дворце Советов. Подумай, поищи. Это срочно.

Через день уже Надя мне звонит.

– Есть кандидатура. Очень подходящая. Аспирант Иванов. Как раз пишет диссертацию по истории советской архитектуры.

Как же я передала этому Иванову текст солдатского письма – через Надю или по телефону прочитала? Но получила его согласие. Назначила крайний срок – две недели. И погру-

зились в свои обязанности. Дело происходило весной – в марте или апреле пятьдесят девятого года. Скорее в марте. Дел невпроворот: праздничная полоса к женскому дню, в Окружном доме офицеров – семинар военкоров, пишущих стихи и прозу, конкурс на лучший лирический снимок...

* * *

И тут как раз приносит мне Надя материал этого аспиранта. Очень удачный. Просто безупречный. Одну-две поправки сделала я, что-то вычеркнул Михаил Николаевич. И сдал в секретариат. Через Надю я известила автора, что он большой молодец, что скоро увидит свой шедевр в печати и получит гонорар. Чтобы адрес прислал с Надей, только подробный, с почтовым индексом. Вот теперь точно наступил апрель.

И тут прибегает ко мне лично подполковник Купчик, наш ответсекретарь:

– Инна, замечательный материал вы дали! Я его хочу в первомайский номер поставить. Но знаете, чего не хватает? Картинки! Этого самого Дворца! Она бы так украсила статью! И вообще – полосу! Даю вам три дня сроку: ноги в руки. И без рисунка не появляйтесь!

Связалась ли я с автором по телефону или опять загрузила Надю? Сказала, что жду ее к себе в воскресенье с готовым рисунком. А сама отправилась с бабушкой, Чижам и Васькой в кино. Возвращаемся, а соседка Зоя Гавриловна докладывает:

– Тут твоя толстуха приходила (кстати, сама Зоя Гавриловна весила примерно в два раза больше Нади), сказала: какой-то рисунок принесет завтра утром сам автор.

Ну, думаю, как всегда, «одной ночи не хватило». Впрочем, завтра так завтра. Как раз завтра – последний срок, назначенный Купчиком. Получит с пылу с жару.

Рабочий день в редакции начинается в десять. Добираться из дому около часа. Поэтому в семь я уже на ногах. Правда, в халате, но умытая, готовая завтракать. Сажусь за стол. Звонок в дверь. Пока я прожеываю сырник, пробираюсь вокруг бабушкиного стула, Зоя Гавриловна уже впускает визитера. Вытирая ноги, стянув берет, он проходит вслед за мной в комнату, извиняется за вторжение, за опоздание и вручает скатанную трубочку ватмана. Я ее разворачиваю, он мне помогает. Я взглядываю бегло – время меня поджимает. Кажется, все в порядке. Его адрес приложен на отдельном листике.

– Спасибо.

– До свиданья.

Прощаемся несколько поспешно. Надеюсь, что окончательно. Так я предполагаю.

Ну вот, раньше, чем продолжить эту историю, сообщаю, что уже успела вам соврать или просто напутать. Этот визит произошел не в конце апреля, а в конце мая. Мне казалось, что девятнадцатого. И я постановила считать это число началом новой эры в моей биографии. И даже припрятала среди важных бумаг скромный листочек календаря за пятьдесят девятый год. В котором кружочками обвела все знаменательные даты: знакомство, первый поцелуй, первая ночь, первое шевеление Катьки. Однако, недавно разбирая свой архив, нашла этот потерянный голубой листок с календарем – вкладыш к журналу «Новое время» – и на нем ни единой отметки. А Генрих в одном из писем заявляет, что начало своей новой жизни полагает с двадцать шестого мая. Так как его письмо датировано июлем или августом того же года, по горячим следам, то скорее прав он. А я теперь буду сомневаться во всех своих датах. А может, и фактах. Так что – звиняйте.

Но уж точно, что май, не апрель. Потому что майские праздники мы встречали веселой компанией у Дуканичей. И Надя была с нами. Но ни о каких специалистах по истории современной архитектуры там и мельком не упоминалось. Хотя статья о Дворце Советов была уже на машинке. Но эта проходная деталь моей служебной деятельности ни для кого никакого интереса не представляла. А разглагольствовала я за столом о том, что меня приглашают однове-

менно на работу в журнал «Сибирские огни» и в книжное издательство, и просила совета. Получила противоречивые. Сева Дуканич, как самый среди нас умный и опытный, назидал меня, чтоб я не пропустила по своему разгильдяйству и непрактичности счастливый случай с «Огнями». Как я уже упустила, по его мнению, «Вечерку». А ведь могла бы работать с ним в одной редакции! К нашему обоюдному удовольствию! И еще в этот вечер я секретничала в уголке с тем же Севой о своем внутреннем освобождении от многолетней запутанной любовной истории. Почему я выбрала в конфиденты женатого мужика, а не какую-нибудь закадычную подругу? Может, потому, что закадычных пока в Новосибирске не было? А письма к Майке в Ростов шли слишком долго.

Это все озвученные планы и варианты. А про себя я держала еще один вариант будущего – поступление в ленинградскую аспирантуру. Даже уже запаслась рекомендательным письмом от собственного отца то ли к проректору ЛГУ по науке, то ли к декану филологического факультета. А заодно собиралась возобновить в северной столице приятельство с Димой Резниковым (пока он служил в армии, его отца пригласили в Ленинград). И, кстати, не исключала возникновения с ним каких-то новых, другого характера, отношений. Ведь мое сердце было совершенно свободно.

Во всяком случае, военная журналистика мне окончательно надоела, и я собиралась пуститься в одиночное плавание. То ли по волнам Невы, то ли на свет «Сибирских огней». Так что «Университет культуры» с его Джакомо Пуччини, а также Иофаном и Щуко в эти дни меня абсолютно не занимал. А тут как раз в десятых числах мая в Новосибирске оказался мой бийский приятель Арон Гольберг. Он направлялся в командировку в Питер, ночевал у нас с бабушкой в промежутке между поездами и наснимал кучу великолепных карточек: я – в его шляпе, я – с хорошенькой Тamarкой, я – с бабушкой, я – с ними обеими, бабушка сама по себе. И по этим фото можно было представить, как я выглядела за две недели до двадцать шестого мая. Прекрасно выглядела – веселая, счастливая, почти хорошенькая девица, только что отметившая свое двадцатишестилетие. А появление Арона и его дифирамбы Питеру подтолкнули мои фантазии к варианту аспирантуры. А что? Чем плохо?

Между тем мечты мечтами, а редакционные будни своим чередом. Как я уже выяснила, подполковник Купчик не собирался печатать «Дворец Советов» в Международный день трудящихся. (А может, все же собирался?) В действительности же рисунок Иванова украсил воскресный номер не то в конце мая, не то в начале июня. И когда это случилось, мой начальник как раз пребывал в полуторамесячном отпуске по случаю защиты диплома и сдачи госэкзаменов в литинституте. (Я не из занудства сие сообщаю. Это лыко тоже в свое время встанет в строку.) А пока я, скромно потупив глазки, выслушиваю порцию дифирамбов на летучке, рекомендацию вывесить материал на красную доску и отметить повышенным гонораром. О котором не зазорно было сообщить автору. (Через Надю? Или лично по телефону?) И устремиться дальше...

Например, заняться редактированием для «Сибирских огней» очерка известного новосибирского писателя Сергея Маслова. Это было для меня второе проверочное задание, как будущему сотруднику. В качестве первого я уже написала две или три внутренние рецензии, довольно быстро и, кажется, удачно. С очерком получалось туго. Журнал как будто затевал серию из истории новосибирских фабрик и заводов. У Маслова речь шла то ли о камвольном, то ли о кожевенном комбинате. Нет! Ничего в голове не удержалось. Помню только, что очерк мне казался скучным, вязким, затянутым. Скорее же всего я была абсолютно неопытным редактором, не владеющим, не знающим особенностей журнальной публицистики, тем более исторической, ретроспективной. Короче, я тонула. А сроки, от выполнения которых зависел мой перевод в «Сибогни», подпирали.

И вот, слегка недовольная собой, но в общем-то довольная жизнью и ее многообразными перспективами, я в понедельник или вторник, в девять утра с копейками, поглядывая на успе-

шие потускнеть часики «Заря» – мамин прошлогодний подарок к двадцатипятилетию, – втискиваюсь на собственной остановке «Больничный городок» в переполненный трамвай. Ввинчиваюсь во все эти спины и животы, царапаюсь о чужие кошелки и папки. Но в общем-то успешно. Весной, летом все-таки совсем другая езда, чем в январе, когда каждый человек занимает в трамвае вдвое больше места, а ветер при минус тридцать пять градусов норовит укусить тебя за нос и щеки, даже когда ты одной ногой уже на подножке.

И вот я полностью внутри. Осторожно повожу плечами, проверяя свою целостность, нахожу удобную, устойчивую позу, хватаюсь рукой за брезентовую петлю – ехать как минимум сорок минут. И тут кто-то дотрагивается до моего локтя: «Садитесь, пожалуйста». Поворачиваюсь... А это мой автор... Конечно, я охотно плюхаюсь на его место. Он воздвигается поблизости. По мере того как мы доползаем до «Башни», – Кривошековского центра – начинка трамвая пребывает в постоянном копошении. Одни выходят. Другие – на той же «Башне», на Горской норовят ворваться внутрь, чтобы преодолеть бесконечный Коммунальный мост и оказаться в центре города. Все эти встречные потоки хотят унести моего нового знакомого то вправо, то влево. Но он, как стойкий оловянный солдатик, удерживается на своем посту рядом со мной. Пока брэнчали по мосту, то есть когда народ замер и замолчал на целых пятнадцать минут, Иванов сообщает, что получил перевод гонорара, выражает удивление и удовольствие по поводу суммы и вежливо осведомляется: нельзя ли займет экземпляр (или даже два) газеты? Я обещаю, что возьму в бухгалтерии его адрес и отправлю на днях.

Тут трамвай добрался до противоположного берега Оби и чуть не на треть освободился. А на следующей остановке – на «Проспекте Октября» – сошло столько народа, что моему автору досталось место не то напротив меня, не то рядом. И он тут же стал заверять меня, что такие усилия с моей стороны совсем ни к чему. Его дом находится в десяти метрах от нашей общей трамвайной остановки, и каждое утро он ездит в «Сибстрин» в то же время на той же «четверке», что и я (и об этом Парки побеспокоились), и если я захвачу в любой день желанную газетку...

Теперь мы уже непринужденно болтаем о том о сем. Он – как было кстати мое поручение, что безумно уже надоели лекции по истмату и диамату и возня со студентами-хвостистами, у которых пришлось принимать зачеты. А тут так приятно было покопаться в литературе. Тем более прикоснуться к забытым фигурам великих конструктивистов... А что, действительно солдат и ефрейтор заинтересовались «Дворцом Советов»? Или это редакционный ход? И о чем еще мы пишем в нашем «Университете культуры»? Я – про удачные материалы нашей рубрики. Про моих постоянных авторов, курсанта Ачинского авиационного училища Сашу Кротова и рядового Крестьянинова из Красноярска. Про стихи одного и рассказы другого. А еще про их острые, глубокие корреспонденции. И за этой болтовней Иванов даже проехал свой «Сибстрин», сошел на следующей остановке, приветливо помахав вслед моему трамваю. А я появилась на рабочем месте почти вовремя в весьма приподнятом настроении. Я любила это внезапно вспыхивающее приятельство с авторами или героями материалов, узнавание новых людей, новых характеров, новых сторон жизни. И чтоб угодить симпатичному человеку, сразу же раздобыла в секретариате (или спустилась в экспедицию?) пару номеров «Советского воина» за тридцать первое мая и уложила их в свою сумку.

На следующее утро я просто пылала желанием передать газеты автору статьи. Эту мелкую положительную черточку – принимать на себя обязательства перед малознакомыми людьми и спорю, неукоснительно их выполнять я в себе лелеяла, пренебрегая сплошь и рядом серьезными обязанностями. Например, служебными.

Позавтракав, сполоснув руки в ванной, махнув расческой по волосам, я еще раз проверила – в сумке ли газеты, ручка, блокнот, и задумалась, выглядывая в окно: надевать шерстяную кофточку или нет? Лето еще не наступило, ночью побрызгал дождик. Кофточка моя старенькая, еще чуть ли не студенческая, с трикотажной голубой юбкой – я ее ввела в обиход

неделю назад, когда вдруг припекло солнце – не сочеталась ни цветом, ни стилем. Но придумать более подходящие варианты было некогда, да и не из чего. Как-то эти проблемы: одежды, прически – всегда оказывались у меня на последнем месте. И я, «махнув руками», натянула на эти руки зеленую кофтенку. Зато «pendant» получился по другой линии. Этот поношенный, разномастный наряд ужасно подходил к моей прическе: отросшим незавитым лохмам, к тому же перемазанным сзади синькой. Это я за зиму натерла своей старой мужской шапкой на затылке себоррею или что-то вроде. И в нашей гарнизонной поликлинике меня лечили попростому, по-солдатски: мазали через день (или ежедневно?) генцианвиолетом. Врач-кожник, капитан медицинской службы, регулярно терроризировавший наш отдел статьями о профилактике трихофитий, взял надо мной персональное шефство и заверял, что заживление идет успешно. И я надеялась, что к лету, к отпуску, к Ленинграду смогу подстричься и завиться. А пока сходило и так. В редакции меня ценили не за красоту. А в подразделениях солдатам и офицерам зачем было меня разглядывать? О том же, какое впечатление я произведу на моего нового знакомого, я вообще не задумывалась...

Проскакав вприпрыжку от дома до трамвайной остановки (никак не могла расстаться с этой школьной привычкой), я остановилась и завертела лохматой головой: народу много, а Иванова нет. Ох, как бы мне не опоздать! Вот и трамвай показался, редкий наш гость! «Нет, не могу я рисковать», – решила я и полезла в вагон. Кстати, сегодня почему-то не обычными «битками набитый». И только он тронулся, как в переднюю, не до конца задвинувшуюся дверь, отдавливая ее плечом и рукой, втиснулся мой автор. К слову, тоже одетый «pendant». Только совсем в другом стиле, очень элегантном: светлые, явно импортные брюки, зауженные, отстроченные, с накладными карманами; такая же отстроченная, карманистая хлопчатобумажная куртка. На голове уже не берет, как в день его визита ко мне, а светлая спортивная кепка. Видимо, часть комплекта. Фу ты ну ты!

Он мгновенно отыскал меня взглядом, раздвинул пассажиров, поминутно извиняясь, подошел, извинился уже передо мной за опоздание и стал объяснять, что чуть не проспал, зачитавшись вчера журналом «Новый мир», который ему дали только на один день. В первый раз я взглянула на Генриха внимательно. Да, накануне мы договорились называть друг друга по имени. «Вы» осталось. Его неординарное имя к этому «вы» подходило. Да и ко всем нашим полуслужебным отношениям. А вот «Новый мир»!.. В пятьдесят девятом это еще не был пароль. Но все же примета, знак... Что же он там всю ночь читал?

– Знаете, такая тонкая, чистая повесть Юрия Казакова «Голубое и зеленое»... Автор совершенно незнакомый, молодой, видимо... Но при этом настоящий мастер и по языку, и по знанию человеческой психологии...

Генрих говорил что-то еще, я его слышала, но теперь уже не столько слушала, сколько рассматривала... Все, что он мог рассказать о «Голубом и зеленом», я знала сама – еще в прошлом году прочитала этот номер «Нового мира» и была в повесть влюблена. Да и вообще Казаков не являлся для меня *terra incognita*. В книжном шкафу у меня стоял его первый сборник. В него, кроме пронзительного, опустошающего рассказа «На полустанке», давшем название книге, были включены «Трали-вали», «Арктур, гончий пес», «Манька». Я об этом тут же сообщила Генриху. И предложила взять почитать. Он пришел в восторг.

А я все разглядывала: как же выглядит ценитель Казакова? Теперь и эта стильность, модность его одежды имела значение (хотя, на мой взгляд, она совсем не нужна была человеку с интеллигентным душевным складом). Вот очки в современной квадратной оправе подходили. Правда, они мешали рассмотреть, какие глаза за ними скрываются? Уже чуть редкие и даже с проблеском седины волосы были подстрижены «ежиком» (позже я узнала, что стрижка называется «канадкой»). Прическа эта Генриху шла, придавала ему что-то мальчишеское и одновременно спортивное. Худощавое, продолговатое лицо было украшено крупными носом

и ртом. Да, именно украшено, потому что нос был породистый, римского типа, а рот – ярким, с красивым вырезом губ. Вчера я что-то ничего этого не заметила...

Я поспешила отдать Генриху газеты:

– А то могу и забыть.

– Я бы вам напомнил, я ведь очень упорен в достижении цели.

– Ну, разве это цель? Это ваше законное авторское право, обычная житейская мелочь.

– Принципов надо придерживаться и в большом и в малом. И потом, никто не знает, когда и как из малого вырастает большое, даже великое.

И тут мы плавно перешли на наши великие жизненные цели. Почему это так легко и естественно у нас получилось? Но через две минуты Генрих рассказывал мне о своем руководителе, профессоре Ащепкове, специалисте по деревянному зодчеству. Он советует заняться историей архитектуры какого-нибудь конкретного сибирского города, например Бийска. Генриха же привлекают проблемы теории архитектуры. Ну, не в том смысле, чтобы копаться в средневековых спорах, в платформах, на которых возводили здания классики. Нет, оттолкнуться хотя бы от тех же конструктивистов, их рационализма, интереса к новейшим технологиям и стройматериалам. Плюс задачи сегодняшнего дня... Вся эта разруха, бараки, нахаловки... Строить надо быстро, но качественно. И красиво. Да, красиво...

Генрих говорил горячо и все норовил извлечь из своей папки какую-то картинку на ватмане. Эскиз, что ли? Но наш трамвай сильно дернуло, мы налетели друг на друга, потом разлетелись в разные стороны... Вагон остановился. Как раз над Обью. Ну вот! Тетка-вагоновожатая обрадовала пассажиров: «Транспортное происшествие! Час простои, не меньше».

Люди потянулись к выходу. Опираясь на руку своего спутника, я спрыгнула на мощную спину Коммунального моста. Глянула на часы. До начала рабочего дня оставалось двадцать минут. Не успею. Такси в Новосибирске тех лет было редкой птицей. Да оно бы не остановилось, даже если бы долетело до середины моста. Как, впрочем, и автобус. И мы зашагали пехом.

Почему-то я смирилась с ситуацией буквально через три минуты. Так ласково пригревало солнце, что я сняла свою кофту, перекинула ее через руку... Так задорно налетали с реки порывы ветра. Так непринужденно ткался наш разговор. Одна тема цеплялась за другую. Я сказала:

– Если вы передумаете и согласитесь писать про архитектуру Бийска, то у меня там куча друзей. Вас могут приютить и все показать. Действительно, у города есть свое лицо, свой стиль, история.

Тут же последовал вопрос: откуда друзья в Бийске? И я немедленно села на своего любимого бийского конька, поплыла (поскакала?) по волнам моей памяти, утонула в сладких историях юности, ее романтических дружбы и братства. Генрих елееле втиснулся в этот поток с рассказом о не менее замечательном Томске, в котором он проработал пять лет по распределению. Но я и тут не отстала: у меня в Томске жил дед. Я его дважды навещала. И видела старинные особняки с их деревянной резьбой. А Иванов, оказывается, бывал на спектаклях в Томском Доме ученых, которые ставил мой дед (у меня хватило такта не высказывать с этой хвастливой информацией). А он уже интересовался: видела ли я здание Томского театра? Обратила ли внимание на его портики? Их ведь отреставрировали совсем недавно. Здание видела, как раз с дедом ходила на премьеру. А вот на портики внимания не обратила...

Кто же протягивал эти ниточки? Вязал эти узелки? Причем делал это с абсолютной точностью. А как только замечал малейшую оплошность в собственной работе или самовольное, хоть на миллиметр, перемещение субъектов на планшете (мольберте), тут же вносил поправки, делал подвижки, что-то старое убирал, надставлял. Ему хорошо была видна сверху картина проекта, все топографические детали, все фигуры – главные и второстепенные. К тому же он пользовался ультрасовременными инструментами, включая телескоп, микроскоп, лазерные и магнитные лучи. Судьбы моя и Генриха находились в опытных руках.

И только один был у этого проекта недостаток – он спускался с самого верха и был рассчитан на идеальных персонажей, скорее всего, нафантазированных искателями-романтиками, которыми так увлекалась я в юности. Заглянуть же внутрь реальных субъектов Парки не могли. А если бы заглянули, то все равно – предвидеть, как будет реагировать тот или иной человек на ту или иную жизненную ситуацию, тот или иной внешний или внутренний раздражитель – невозможно. Слишком многовариантно устроены люди. Недаром о них сказано: «венец творчества». Что, кстати, подразумевает изошренный набор, подбор как достоинств, так и недостатков...

Тут задержались мы еще минут на десять, возле столкнувшихся авто, из-за которых нарушилось движение. Гаишники уже составили протоколы, грузовик, хромая и чихая, поплелся своей дорогой. А легковушка до сих пор ждала аварийной платформы, на которую ее должны были взвалить. «Никак не доползут по пересеченной местности под пулеметным огнем автомедики», – довольно плоско сострила я. Но в этот день все шло нам в зачет, все пули попадали в цель. Месяц спустя мы снова стали свидетелями дорожного происшествия. Аварии (слава богу, чужие) в эти дни превышали среднестатистические нормы, наверное, специально, чтоб Генрих мог сказать: «Что-то автомедики сегодня задерживаются. Накрыло, видать, прямой наводкой». Дал мне понять, что оценил, запомнил мою остроту.

Поглазев на столкновение (к счастью, люди не пострадали), мы в темпе перешли мост и углубились в неказистые улочки Октябрьского района, которые дали повод моему спутнику рассказать, как следовало бы здесь все перестроить, где спроектировать спуск к реке, набережную, какие серии домов выбрать, какие материалы, какую этажность предпочесть. Я слушала теперь почти без реплик. Мне всегда нравились люди, увлеченные своим делом. Любым. Конструированием ли циклонных котлов малой мощности. Созданием ли цеха по выпуску сварочных электродов. Сеянием ли разумного, доброго, вечного в головах провинциальных школьников. Я только сегодня осознала, что все мои близкие друзья были рыцарями своей профессии, ее паладинами. Выбирала я их, сближалась с ними вроде не по этому принципу, а в итоге оказалось именно так... И естественно, что с моим нечаянным знакомцем мне оказалось очень интересно. И приятно. О том, что я опаздываю на полчаса, если не больше, я вспомнила только когда мы простились у проходной военного городка.

Но и тут стечение обстоятельств мне (или нам?) благоприятствовало. Горбунов, если бы он был на месте, всыпал бы мне по первое число, устроил хорошую выволочку, после которой я бы надолго забыла про опоздания. А Захарушка Санников совсем не годился в начальники. Его из отдела боевой подготовки пересадили исполнять должность начальника отдела культуры потому, что он был единственным в большом редакционном штате (человек тридцать пять) специальным корреспондентом, писал исключительно очерки, то есть был как бы писателем, ценителем и мастером литературы и культуры. Он и сам считал, что на этот пост его отправили не дисциплину блюсти, а вспахивать газетную почву, сеять и поливать семена и ростки добрых чувств, мыслей и дел. К тому же Захар в своем самом боевом и самом вышколенном отделе находился на особом положении, пользовался некоей свободой. И эти либеральные замашки перенес к нам. Отдел культуры от этого не прогадал. Все три литсотрудника и работу свою любили, и Горбуновым были хорошо настеганы, так что полтора месяца его отсутствия трудились как часики. Я в том числе, и даже с большим воодушевлением. Настроение было творческое.

Но вот опаздывать я стала чуть не через день. Конечно, не на тридцать-сорок минут (в тот вторник я драматически расписала аварию на мосту: можно было услышать в рассказе намек, что еще немного, и я сама оказалась бы в числе пострадавших). В дальнейшем я оправдывалась то тем, что на десять минут забежала в корректорскую вычеркнуть неудачную строчку из сданного вчера в набор материала, то врала, что встретила полковника-пенсионера, с которым недавно проверяла какую-то бытовую жалобу, и мы обговаривали некие детали.

Однако я быстро поняла, что привирать нет никакой надобности. Санников моей работой, ее количеством и качеством, был доволен, а на остальное смотрел сквозь пальцы.

Знакомство же мое все крепло. Наши трамвайные «совпадения» происходили пусть не каждый день, но уж два-три раза в неделю – это точно. И было несколько случаев, когда мы без всяких аварий вылезали из трамвая, не доехав даже до Сибстрина, и проходили несколько остановок пешком.

И всегда нам было о чем поболтать. Кроме проблем архитектуры (тут я в основном слушала), мы оба оказались яркими ниспровергателями власть предержащих. За прошедшие после двадцатого съезда три года Хрущев успел наломать много дров – и с кукурузой, и с международной политикой, обнаружил свое дремучее невежество, помноженное на агрессивность и самодурство. Особенно на встречах с писателями и на съезде колхозников. И нам уже казалось оскорбительным, что наша судьба находится в его руках. Генрих рассказывал мне такой анекдот: «Как живете, колхознички?» – шутит Никита Сергеевич. «Хорошо живем!» – шутят колхознички». Я отвечала: «Встречается колхозник с писателем, разговорились. Колхозник завидует: «Повезло вам – Никита Сергеевич в ваших делах вон как здорово разбирается»...

Правда, время от времени на эти темы у нас случались стычки. Я все еще никак не могла избавиться от пионерско-комсомольской инфицированности культом личности Сталина. Все еще числила его человеком крупным, незаурядным, особенно по сравнению с мелюзгой, его преемниками. А Генрих для него другого определения, кроме «палач», «бандит», не знал. К тому же уверял меня, что все понимал про Сталина уже в сорок восьмом – сорок девятом году. А я в глубине души считала, что просто он набивает цену своей проницательности.

Другой любимой темой у нас оставалась литература. Раз уж заговорили о пороках режима, то неизбежно вышли на роман Дудинцева «Не хлебом единым». Тут наши восторги полностью совпали. И мы несколько дней (подряд или с перерывом?) разбирали характеры героев, сравнивали их с собственными наблюдениями. Аргументы Иванова по поводу книги, и про, и контра, были куда серьезнее, ведь он пять лет варился в инженерной гуще.

Ну, ладно! Роман Дудинцева в те годы не сходил с языка самого лучшего в мире читателя, советского. Но как-то вдруг упомянула я роستانовского «Сирано де Бержерака». Просто к слову пришлось... Для подтверждения мысли. И никакого продолжения, отклика я не ждала. Потому что среди своих что ростовских, что бийских, что новосибирских знакомых не встречала никого, кто читал или видел на сцене эту пьесу. А Генрих знал ее кусками наизусть. Более того, в каком-то состоявшемся или намечавшемся спектакле ему поручили делать декорации – балкон для Роксаны и нишу под ним, из которой герой суфлировал де Невиллетту.

А раз уж заговорили о признаниях, которые Сирано писал за простодушного Кристиана, то Иванов не удержался сообщить, что сочинял в десятом классе для друга послания к некоей новосибирской Роксане. Пришлось и мне сознаться, что писала за подружку письмо-исповедь. Правда, адресованное не к самому «предмету», а к его ближайшему другу, с призывом помочь разобраться в чувствах. Ох, неважно, – что, кому, от кого. Главное, эта лавина совпадений нарастала! А впереди еще был Бредбери!

* * *

Нет, до этой точки совпадения случилась неожиданная заминка. Две или три наши совместные поездки подряд не состоялись. Причем не по случайности. В первый раз я еще издали заметила фигуру в светлых брюках и уже не в куртке, а в спортивной рубашке с короткими рукавами, впрочем, тоже отстроченной. Но едва я подошла ближе, как мой «герой» резко повернулся и скрылся во дворе под аркой. В собственном дворе. Я пропустила пару трамваев, но Генрих так и не появился. Ну, и черт с тобой! Оно мне надо! Значительно больше в эти дни

меня занимало, какое впечатление произвел на редакцию «Сибирских огней» искореженный мною очерк Маслова.

Назавтра я уже никого не высматривала и не ожидала, а почти на ходу запрыгнула в отъезжавший трамвай. И в нем в дальнем углу увидела Генриха, который сразу же круто повернулся ко мне спиной и уткнулся в какую-то тетрадь. Более того, едва мы доехали до «Башни», он выскочил из вагона, причем к выходу пробирался, не отрываясь от увлекательного чтения. Чем окончательно меня возмутил. Он что – думает, что я буду к нему в знакомые набиваться? Дурак, что ли? И я выбросила всю эту историю из головы...

Но неприятный осадок все же остался. Я даже бабушке со смехом пожаловалась:

– Помнишь того человека, что приносил мне рисунки для статьи? Он было решил со мной завязать дружбу, подружил недели две и вдруг стал прятаться по подворотням, лицо полой прикрывать. Сумасшедший, наверное?

– Я бы на его месте тоже убегала от тебя в подворотню, – съязвила бабушка. – Посмотри, на кого ты похожа! Неужели нельзя привести голову в порядок? Тебя же завивка совершенно меняет. Эти лохмы твои – просто неуважение к окружающим. Про неуважение к самой себе не говорю. Кстати, соседка с третьего этажа, Лидия Ивановна, оказывается, шьет и заказы берет. Я уже с ней договорилась: она и тебе, и мне сошьет по юбке. Сегодня вечером пойдем на примерку...

Это нам мама в апреле, к моим именинам, прислала по отрезу черного крепсагэна. Бабушке – матовый, а мне – двухсторонний. Юбка через неделю была готова. Моя, как я и заказывала – восьмиклинка, причем, клин – блестящий, клин – матовый. Очень мило. Бабушкина, прямая, поспела позже. Кстати, талию мне соседка намерила семьдесят четыре сантиметра. Чудеса! Ура! Обычно я склонялась к восьмидесяти. Вот что значит весна и активный образ жизни! Да, еще в маминой посылке приехали две вышитые крепжоржетовые блузки. Бабушке – опять же прямая. А мне приталенная, на резинке, рукав – фонариком, с круглым воротничком. Теперь будет, с чем их носить! Только бы дождаться конца моей себорреи! А то не вяжутся эти изящные наряды с фиолетовым затылком. Он больше подходит для деревенской курицы. Так метят рачительные хозяйки своих легхорнов, чтоб не спутать с соседскими.

Вот за хлопотами вокруг моего гардероба, за переговорами с редакторами «Советского воина» и «Сибогней» о сроках и формах моего перемещения из одной редакции в другую, за хлопотанием во мне творческой энергии, которая выплескивалась в новенькую хорошенькую записную книжку (ее и почитать теперь было некому; в Бийске я осчастлививала своими глубокомысленными «психологизмами» и «философизмами» Рогова, но сегодня море чувств не то обмелело, не то исчерпалось, а может, вообще было не море, а небольшой рукотворный прудик), я почти позабыла о Генрихе. Тем более мелькала мысль: может, поеду в Питер, покажу свои афоризмы, наброски и стихи Диме Резникову. Он еще в пору нашей переписки все мечтал увидеть, что я пишу.

И я, уловив момент, черкаю Диме эпистола о своих аспирантских планах! И получаю почти мгновенный отклик, полный дифирамбов Ленинграду...

Но вдруг... Опять это самое «но вдруг». Кстати, в юности я очень в него верила, можно сказать, надеялась на него. Мне всегда казалось, что оно притаилось за углом специально для меня и вот выйдет в радужных одеждах, расстелет передо мной если не ковровую дорожку, то еще лучше, таинственную тропинку со следами невиданных зверей. По которой меня будет сопровождать белый рыцарь. В сверкающих доспехах. В общем, всякий книжный, романтический бред...

Но правильно сказано: каждому воздается по вере его. В какой-то момент мы сотворяем и притягиваем к себе из ноосферы эти свои фантазии.

Так вот, Лидия Ивановна еще пришивала последние крючки (или кнопки) к моей восьмиклинке, как на трамвайной остановке меня ожидал аспирант Иванов. Причем, ожидал не

десять минут, судя по его озабоченному, нервному лицу. Дело в том, что я пришла на трамвайную остановку много позже обычного: ехала не в военный городок, а в центр. Отпросилась у Захара для посещения «Сибирских огней».

– Здравствуйте, – как-то смущенно приветствовал меня Генрих. – А я уже волнуюсь, не стряслось ли чего?

– Нет, у меня просто сегодня особое расписание. У вас ведь оно тоже иногда меняется? – слегонца съязвила я. Но в общем настроена я была благодушно. Уже выпала из этой коллизии.

Пришел трамвай. Генрих, как всегда, был галантен при посадке. Вагон оказался относительно свободен – все рабочие и служащие уже трудились на своих местах. И мы уселись в конце салона рядышком. Некоторое время длилась необъяснимая, непривычная пауза. Я по случаю этого молчания несколько бесцеремонно разглядывала своего спутника холодным, так называемым «писательским» оком. Он, кажется, не изменился. Только сменил туфли на босоножки. Как, впрочем, и я. И кепку свою отменил. Волосы чуть отросли, хотя и не погустели. С любопытством отметила какие-то странные белые хлопья в ушных раковинах. «Лишние мозги из дырок лезут, что ли?» – сострила я про себя. И тут он заговорил:

– Инна, у меня к вам серьезный разговор. Если вы не спешите...

– Как раз сегодня не спешу. Мне – в центр. И без определенного времени.

– Ну, вот и прекрасно.

Пятнадцать минут через Кривощеково и Коммунальный мост проехали в том же молчании. Сошли на набережной, где я собиралась сделать пересадку.

– Если не возражаете, пройдем пешком до центра. Я вас провожу.

Опять несколько минут неловкой тишины. Генрих вдруг остановился:

– Инна, я должен сказать вам одну вещь – я женат...

Как я вскинулась! Обычно такая вежливая, приветливая, доброжелательная и со знакомыми, и с незнакомыми, но особенно в служебных отношениях (а ведь это был мой автор!), я, оскорбленная до глубины души, напала на спутника, как соседка по коммунальной квартире.

– Это вы к чему бы мне сообщаете? Я что, посягала каким-то образом на вашу личную жизнь? У нас чисто деловое знакомство, случайное совпадение маршрутов, ни к чему не обязывающие разговоры. Вам не семнадцать и даже не двадцать лет, и вполне можно предположить, что у вас есть жена и ребенок или даже два. Но это разве могло мешать, да вообще просто соотноситься с нашей светской, случайной болтовней? У меня таких отношений, особенно по роду моей работы – десятки. Но уж если вам или вашей жене что могло прийти в голову, то, извините, вынуждена вас разочаровать (или обрадовать?), я ни на ваши чувства, ни на ваше внимание нисколько не претендую. Я никакого прибитка от нашего знакомства не ожидала и ни в каких продолжениях не нуждаюсь. Отказываюсь категорически. Так что успокойтесь.

Я выпалила все это одним духом. Даже не подозревала, что умею так складно. Уж очень оскорбилась! Ну, слава Богу, разделалась. Удивило меня только, что автор мой во время этого монолога краснел, бледнел, шел какими-то пятнами, было протягивал ко мне руку, отдергивал ее... Мы уже никуда не шли, а стояли в начале Красного проспекта, в тени облисполкома. Когда я замолчала, заговорил он:

– Инна, вы меня не поняли. Я совсем не подозреваю вас в намерениях меня куда-то заманить. Я как раз понимаю, что ничего для вас не значу. Это вы для меня много... все значите... А я действительно женат... уже давно. Почти девять лет. И брак этот с самого начала был неправильный. И теперь уже исчерпан. Я на днях сказал своей жене, что полюбил другую женщину... Вас то есть... И теперь хочу вас просить – помогите мне разобраться, что с этим со всем делать? Сейчас я вас оставляю... Вы обо всем этом подумайте. А через какое-то время я снова появлюсь. И мы поговорим...

Генрих замолчал и тут-то и коснулся моей руки, как бы прощаясь. Потом резко повернулся и пошел к трамвайной остановке. А я осталась с раскрытым ртом...

* * *

День, начавшийся так странно, и дальше шел наперекосяк. Разговор с редактором «Сибирских огней» Лаврентьевым не состоялся, его срочно куда-то вызвали. Я, раз уж оказалась в журнале, зашла в отдел поэзии и взяла стопку стихов Казимира Лисовского для нашей газеты, о которых договаривался еще до отпуска Горбунов. И побрела пешком. Сначала по Красному проспекту, а потом через овраг, мимо развалюх Каменки, то под горку, то на горку, в военный городок. Шла больше часу. Но ведь транспорта прямого все равно не существовало. Пришлось бы ехать с пересадкой, вкругаля. По времени то на то и получилось бы. А в течение этой длинной прогулки я все передумывала, пережевывала утренний разговор. Пыталась разобраться в своих чувствах, ощущениях. И не могла. Было ясно одно – к такому повороту событий я совершенно не готова. Да, каких-то необыкновенных обстоятельств, романтических, фантастических, я в своей личной жизни ожидала. Встреча в командировке, знакомство в пути, отпуске, спасение в шторм. Рафинированная компания... Короче, как там у Драгунского – «Пожар во флигеле, или Случай во льдах»? Но чтоб ordinaria ситуация, прозаическая, служебная вдруг так круто перевернулась? И, главное, неясно – к добру это или к худу? Нужен ли мне этот человек? Который уже, не спросясь у меня ответа и совета, принялся что-то менять, ломать в своей жизни. Возложив каким-то образом на меня ответственность за его судьбу... И за судьбу неизвестной мне женщины... А он мне нравится?.. Скорее всего... если быть честной... то да! Как хороши были наши утренние поездки, как интересны разговоры! И как (теперь можно себе сознаться) мне их стало не хватать в последнюю неделю! А! Так вот, оказывается, почему он исчез! Он принимал какие-то решения... Внутри себя? Или считал нужным жену поставить в известность?

Эти размышления вслепую и впустую дорисовывали портрет героя, добавляли ему светлых красок, истолковывали почти все в его пользу. Но главное – ситуация становилась все острее и загадочнее. Хотелось заглянуть на следующие страницы. Хотя подчас я начинала опасаться, а не наткнусь ли я в них на какую-нибудь пошлость, двусмысленность?

И уже добравшись до своего рабочего стола, отдав Захару стихи Лисовского и получив его согласие на работу с письмами, я отдалась этому простейшему, полумеханическому занятию. На большее сегодня я была неспособна. И так – до шести.

Дома я все-таки не утерпела, рассказала бабушке сегодняшнее происшествие. Чем немало ее встревожила. Она, как я узнала позже из ее писем к маме в Ростов, была обеспокоена моим затянувшимся безбрачием. Но не скандальным же образом с ним прощаться! Слава богу, у меня числился чуть не взвод холостых приятелей. Правда, все они бабушку в качестве моих возможных мужей не устраивали. Граф – грязнуля, у Рогова – плебейские руки (их не искупал чеканный профиль). Леня оказался слишком зависим от собственной матери. Арон не внушал доверия своей слишком яркой внешностью («красивый муж – чужой муж»). Виталий опрометчиво успел жениться, раньше, чем бабушка его увидела. Но думаю, что и он не был бы одобрен: тоже небрежен в одежде и быту. Знаком плюс оценивался один Васька, очень обязательный, аккуратный, добропорядочный. Бабушка мечтала: «Вышла бы ты за него замуж. Он всегда в командировках. Как бы мы с тобой хорошо жили!» Действительно, вариант прекрасный! Жаль, что ни Васька ко мне, ни я к Ваське никаких чувств, кроме чисто дружеских, не испытывали.

Бабушка обсуждала со мной чрезвычайное происшествие допоздна. Я слушала ее советы, с чем-то соглашалась. Но про себя твердо решила предоставить все времени и случаю. А самой – навести ушки и попытаться разобраться в себе. И в Генрихе.

Последний появился через два дня в конце работы у проходной военного городка. Интересно, долго ли ждал? А ведь мог и не дожидаться. Я, случалось, уходила по заданию раньше.

И через другую проходную. Сразу же предложил пойти в кино. В центр (в «Пионер» или в «Победу»?). На фильм «Без семьи». Кто же экранизировал эту повесть Мало? Сами французы? Или сентиментальные англичане, любители с подачи Диккенса историй про сироток? Я-то побежала охотно, мои школьные воспоминания были пропитаны трогательными приключениями Реми и Витали, которыми я зачитывалась по-русски дома и по-французски – в школе. И, встретившись с этими персонажами на экране, я опять погрузилась в свое детство. Поэтому, когда мы возвращались в Кривошеково, то не обменивались с Генрихом впечатлениями о фильме – да что там было обсуждать! Даже подростку все ясно. А я рассказывала, как жила в сорок пятом – сорок шестом годах в Москве, в какие ходила театры-концерты, с кем дружила – ссорилась, какие читала книжки, где их доставала.

А Иванов все это слушал как некие философские или религиозные откровения, задавал бесконечные вопросы и с трепетом ждал ответов. Причем искренность его интереса была несомненна и очень меня трогала. Меня еще никто никогда так не слушал. Даже Рогов... Даже Майка... Поэтому после кино я завела Генриха домой и наградила сборником рассказов Казакова. Считая, что заслужил. Кстати, еще и тем, что ни разу не заикнулся о главном. Видимо, мой срок еще не истек.

Маленькое отступление о наших культпоходах. В этот период нашего знакомства (после разговора на Красном проспекте и до отъезда Генриха в Алма-Ату) мы старательно посещали кинотеатры. Удобный, видимо, способ быть вместе, не выясняя отношений. Но смотрели почему-то совершенно стерильные, пресные фильмы, которые никак не соотносились с нашей личной проблемой. Но и к «смыслу жизни», к судьбам человечества, о которых мы, как будущие шестидесятники, всюю беспокоились, тоже отношения не имели.

Ходили в какой-то клуб аж на набережной на «Военную тайну» по Гайдару. Что это нас все на детские фильмы тянуло? Такое уж кинопрокатовское безрыбье? Или пытались инстинктивно, через общие школьные воспоминания, как бы соприкоснуться кончиками, если не пальцев, то чувств? Еще «Ночной гость» – по рассказу Нагибина. Такой психологически-экологический этюд... С последующими по дороге домой рассказами Генриха о его охотничьих и рыбацких приключениях. И с моими просветительскими разговорами о Нагибине. Тут, впрочем, выяснилось, что мой собеседник читал и «Зимний дуб», и «Чистые пруды», и вообще Нагибина ставил в один ряд с Казаковым, «Арктур, гончий пес» которого ему необыкновенно понравился. В тот вечер я узнала о его первой собаке, кстати, пойнтере, как и Арктур.

Я тут же решила поделиться своими юношескими впечатлениями, увлечениями. С бухты-бархты рассказала о поездках в альплагерь, о замечательных людях, с которыми там познакомилась. Отсюда как-то случайно скатилась к старинным нашим спорам с Димой Резниковым: нужно ли ползти, стиснув зубы, к вершинам или следует прогуливаться по живописным лужайкам? Генрих оказался сторонником экстрима. Я тут же сообщила, что сошлюсь на его уважаемое мнение, когда через пару месяцев поеду в Питер выяснять насчет аспирантуры. Дима живет теперь там, и мне интересно будет продолжить спор, опираясь на новые аргументы.

Тут случилась некая пауза в нашем общении. И весьма кстати. Потому что вернулся из отпуска Михаил Николаевич и устроил нам всем взбучку. Правда, не слишком свирепую – по случаю получения диплома. И представления к очередному званию. Но все равно – работы накидал выше крыши.

В одну из суббот (тогда это были рабочие дни) вдруг опять позвонил в редакцию Генрих и сказал, что будет ждать меня на трамвайной остановке. По какой-то уже сложившейся привычке мы пошли пешком вдоль трамвайных путей. На задворках Октябрьского района уже проклевывалось сибирское лето, зацветала черемуха, никак не хотели наступать сумерки.

– Ну, вот, – сказал Генрих, – вот и конец нашему знакомству. Вы уезжаете в Ленинград. И я уезжаю. И все постепенно забудется...

Сказать, что я удивилась, значит, ничего не сказать. Странная, но уже захватившая меня история обрывалась ни с того ни с сего самым неожиданным образом.

– А куда вы уезжаете, если не секрет?

– В Алма-Ату, на военные сборы для офицеров запаса. На два месяца.

– Это так внезапно случилось?

Он запнулся:

– Нет, просто... Ну, это разумный способ... Я от знакомых ребят-архитекторов узнал, что они едут... И пошел в военкомат. Там, конечно, обрадовались... Через две недели еду... Вот пришел... в последний раз повидаться...

Эта история перетиралась нами потом не раз. В тот вечер я, оказавшись в полном тупике, не ощущая никакой логики, а только разочарование и обиду, быстро нацепила маску вежливого равнодушия и пожелала ему счастливой службы и скорейшего восстановления семейного очага. Задетый моими пожеланиями, Иванов сказал, что с бывшей женой они расстались окончательно, а его отъезд на сборы имеет совсем другие, глубокие мотивы.

– Ну что ж, жаль, что вы не хотите мне их сообщить.

– А зачем вам это? У вас в ближайшее время жизнь заполнится новыми впечатлениями, встречами. Появятся новые собеседники и спутники.

Выяснилось после каких-то путаных и околичных разговоров в тот вечер, а более отчетливо – значительно позже, что мою болтовню о Ленинграде, аспирантуре, Диме Резникове (я много в первые недели и даже месяцы этого знакомства болтала просто так, для заполнения пауз, для оттачивания своего языка, для прояснения самой себе собственных планов и намерений, не придавая этим словам, а также нашим с Генрихом отношениям особого значения) он принял всерьез. Я не догадывалась, какую невиданную цену приобретают мои медные, копеечные речи, попадая спутнику не в уши, а почему-то в душу, в сердце.

Мои последние разглагольствования об аспирантуре он принял за твердый, четко продуманный план жизни. А упоминание о Диме в том числе – семейной. И решил, с одной стороны, не путаться у меня под ногами со своей никому не нужной любовью. С другой – найти удобное и уединенное (в смысле набитости чужими людьми и военными приказами) место, в котором ему удастся зализать, заживить свои душевные раны.

Кажется, я сразу спросила, а почему он не поинтересовался моим мнением на сей счет, не уточнил, не прояснил ситуацию? Во всяком случае, Генрих почувствовал, что попал пальцем в небо. И наш разговор продолжился. И не единожды. Я объяснила, что никакого пикового интереса в Ленинграде у меня нет. Даже аспирантура – это пока так, лишь фантазия, на всякий случай. «Сибирские огни» меня привлекают во сто раз больше. А уж о Диме Резникове я вообще и думать не думала. Так, спрыгнул с языка. А вот к нему я отношусь с симпатией. И с интересом. Да, да. Только не берите в голову чего-то эдакого... Мы ведь так мало друг друга знаем. Видите, как плохо понимаем... Но при всем при том...

И мы стали опять встречаться, чтобы лучше понять... Но прежде всего Иванов помчался в военкомат, чтобы отменить свой добровольный призыв. Напрасно! Оставь надежду всяк сюда входящий! Все бумаги двинулись по инстанциям. Не нужно совать голову в пасть льва! Пришлось утешаться тем, что лев не собирался эту голову откусить, а хотел только подержать ее в зубах шестьдесят дней.

Оставалось более продуктивно использовать последние две недели. Теперь мы уже встречались ежедневно.

И не только об охоте, собаках и любимых детских книгах мы говорили. Что-то прорывалось, высыпались какие-то факты, детали его личной жизни. Например, Генрих вдруг спросил, слышала ли я о такой удивительной поэме Дмитрия Кедрина «Зодчие», и тут же прочел кусок. А я, подсказав какую-то забытую им строку, поспешила заметить, что у Кедрина много замечательных лирических стихотворений. Слава богу, пять лет назад стараниями Димы Резникова я

к ним приобщилась, чуть ли не силой. Нет, Генрих их не знал. «Зодчие» прочел в перепечатке у кого-то из архитекторов. И я (тогда еще память на стихи не изнасилась) рассказала «Куклу», «Дуэль» и «Разговор». Хотя больше всего я хотела заинтересовать строчками о том, как *«К нам в гости приходит мальчик со сросшимися бровями»*, и благородными сожалениями, *«что наша любовь не вышла и этот мальчик не мой»*, но Генрих страшно взволновался «Разговором». Все повторял: «Мне страшно с тобой вдвоем». И даже стихами Слуцкого про лошадей в океане и Гудзенко *«Мы не от старости умрем, от старых ран умрем...»* – мне не удалось его отвлечь. Пришлось прибегнуть к сильнодействующему средству, к такому дорогому *«Смною вот что происходит»* Евтушенко. Тогда каждая строчка этого стихотворения казалась мне такой исчерпывающей, такой переполненной смыслом, все объясняющей и освещающей... В этих поисках близкой души, единственной любви...

На моего собеседника стихи эти тоже подействовали необыкновенно. Он ушел в себя, как-то затих на противоположном мне конце скамейки, которую мы недавно обнаружили, не доходя до моего дома. Что мне еще нравилось: во время этих вечерних прогулок Генрих ни разу не попытался нарушить платоничности наших отношений. Как он догадывался, что одним неосторожным, нецеломудренным движением может все испортить?

Стихи наконец растаяли в темноте.

– Инна, а что вы делаете завтра после работы?

– Да ничего особенного.

– А вы в Бугримской роще когда-нибудь бывали?

* * *

Назавтра Генрих пришел за мной около восьми вечера. Не знаю, что меня подтолкнуло, но в первый раз за время знакомства я специально нарядилась в новые юбку с блузкой. И волосы накануне почти полностью отмыла от генциан-виолета. Бабушке я сказала, что вернусь поздно, и взяла с собой ключ. А Генрих заверил Валентину Акимовну, что ничего дурного со мной под его присмотром случиться не может.

Вприпрыжку я спустилась с нашего крутого крыльца и тут же, наказанная за неумную прыть, оступилась, подвернула (правда, слегка) ногу. Генрих успел меня подхватить в последнюю минуту и уже на ровном асфальте взял под руку. Я нагло заявила: предпочитаю, чтоб не меня поддерживали, а чтобы я опиралась... Но я действительно всю жизнь выбираю такой способ хождения «под руку» – и со школьными подругами, и с университетскими, и с друзьями мужского пола, и со считанными поклонниками.

Я просунула ладонь спутнику под локоть, и наши кисти соединились. Прошло пятьдесят лет, но я до сих пор помню это ощущение. Ни до, ни после я не испытывала такого утонченного и одновременно сильного наслаждения от простого прикосновения. У него была удивительно нежная ладонь. Потом я имела возможность рассмотреть эти руки во всех подробностях. Длинные, красивые пальцы довольно крупной, но очень изящной кисти, породистой – непонятно откуда? Крестьянский ведь сын и внук с обеих сторон. Это – на вид. На ощупь же – удивительно гладкая, нежная кожа. Тоже непонятно – почему? Ведь у него руки все время были в работе. То, что называется «золотые». Рубили, строгаги, клеили, сверлили, чистили, красили, варили, рисовали... Что еще? Да абсолютно все!

Но, казалось, к его ладоням ничего не приставало, они ни от чего не грубели, никакие мозоли на них не образовывались. Единственное, чем можно этот феномен объяснить – когда Генрих касался любимого человека: женщины, матери, ребенка – нежность, находившаяся внутри, давала такое мощное излучение, что превращала обыкновенную кожу в некую бархатную субстанцию. Я, во всяком случае, мгновенно и безоговорочно погрузилась в совершенно

новое для меня состояние радости от того, что меня так нежно любят. Его ладонь сказала об этом больше и точнее, чем любые слова...

И мы пошли. Не всегда под руку. Хотя я не стремилась прервать это восхитительное касание. Просто маршрут наш был длинен, разнообразен. И по пути случалось всякое. Сначала мы погрузились в какие-то кривошековские переулки. Было совсем светло, несмотря на вечер. Стоял июнь, чуть ли не летнее солнцестояние, когда в Сибири «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса».

Генрих вел меня кратчайшим путем к Бугримской роще. Я жила в Кировском районе больше года, но ни разу в ней не бывала. Только проезжая по Коммунальному мосту, видела на нашем, левом, берегу большой березовый массив, весело зеленеющий кронами в летние дни и воинственно чернеющий зимой концами голых веток. Знала, что там находится городской пляж. То есть место для массовых купаний и коллективных возлияний. Но как-то ни меня, ни моих приятелей туда не тянуло. А вот сегодня мы зачем-то в рощу шли. Ну не купаться же! Уже вечерело. Воздух был прохладным. Вода же наверняка еще холоднее.

Сталинские пятиэтажки, выстроившиеся вдоль нашей Шестой пятилетки, сменились двух-трехэтажными типовыми домами – явно какое-то заводское жилье, то ли предвоенное, то ли военное. Кривошеково было плацдармом крупнейших новосибирских предприятий: турбогенераторный завод, завод им. Ефремова (что он выпускал?), Сибсельмаш (нет, этот хоть и в Кировском районе раскинулся, но в противоположном от Бугримской рощи направлении).

А вот и малоэтажные розовые бараки закончились. А набежали частные, разрозненные, по-сибирски неказистые домики. Без палисадников, без веселых калиток, без приветливых наличников. Зато с тяжелыми ставнями. И с первыми выбежавшими из рощи единичными березами, то во дворе, то на улице. То прямо посреди узкой дороги, так что приходилось обходить ее с двух сторон, порознь. Нога наконец перестала ныть, и цепляться за моего спутника уже не было повода. Но шли мы рядышком, и он говорил, говорил, не умолкая. Как будто освобождался от накопившегося за много лет груза. Сначала – про Бугримскую рощу. На ее территории располагался во время войны пионерский лагерь. Я толком не поняла, а спросить – не спросила: было там какое-то строение или дети жили в палатках? Да и неважным это казалось для исповеди Генриха. Он просто погружался сам и хотел меня погрузить в мир своей юности, в мир созревающих чувств, в мир первой любви. В сорок третьем году ему было пятнадцать лет и он числился в Бугримской роще помвожатым. Я по собственной школьной биографии помнила эту категорию не мальчиков уже, не девочек, но и не юношей, не девушек, по жизненному, душевному опыту неотличимых от своих подопечных, отделенных от них только переходом из пионеров в комсомольцы. Но уже потревоженных первыми гормональными приступами.

Историю, подобную той, что Генрих рассказывал, я пережила в сорок восьмом году в Солониках. Во всяком случае, хотела бы пережить. Мне было тогда четырнадцать, а нашему помвожатому Юре Симко шестнадцать. Мне он страшно нравился. Но вот я ему, видать, не показалась. У Генриха же все сложилось замечательно. Он влюбился в четырнадцатилетнюю пионерку Иру Шур, москвичку, занесенную с сотнями других столичных детей в Новосибирск эвакуацией. Я потом много раз слышала от Генриха эти имена: Алик Цейтлин, Ира Шур, Коля Попов, Петька Костецкий – все его одноклассники, соседи, друзья, друзья друзей, которых в сорок первом прибило военной волной, а в сорок четвертом – сорок пятом унесло обратно. И когда я становилась порой в тупик перед какими-то особенностями его личности, то готова была принять его объяснения, что во время войны в Сибирь из Москвы и других крупных центров были завезены не только промышленные предприятия, не только знаменитые театры и картинные галереи. Но и проник дух европейской культуры, аура интеллигентности. И хотя через несколько лет большинство эвакуированных уехали, каким-то образом след, дух, аромат, вкус этого десанта сохранился за Уралом, продолжал свое воздействие.

Так вот с красивой Ирой Шур (очень красивой! Я с ней потом познакомилась близко и смогла оценить) пятнадцатилетний Генрих гулял в Бугримской роще, катался на лодочке по Оби. По его рассказам мне показалось, что целовался. Но Ира, шестьдесят лет спустя, клялась, что ни в коем случае. По ее тогдашним понятиям, это было бы кощунством! Я поверила им обоим. В рассказах о любви важна не «голая» правда, а самоощущение. А у них, конечно, была настоящая первая любовь. И она продолжалась после лагеря, в школе. Хотя он учился в восьмом классе, а она в седьмом. Генрих ходил к Ирине в гости, в их высокоинтеллигентный дом. Еще они бегали в кино и в театр. Когда у Иры было свободное время. Она ведь училась еще и в музыкалке. Впрочем, для встреч с Генрихом Ира всегда время выкраивала. Он рисовал для нее акварели, пытался написать портрет девочки. Злился, что не получалось. Тогда нарисовал автопортрет и подарил. Брал у Шурув в доме хорошие книги. И не только у них. У того же Альки Цейтлина отец был не то нарком, не то замнаркома и какую-то часть своей библиотеки сумел вывезти из Москвы. И Генрих с Ирой в эти стихи Байрона, Гейне, Блока погружались... Запоминали... Говорили о них... О своей любви... И не сомневались, что это – на всю жизнь...

Это все мне Генрих рассказывает, а тем временем мы уже входим в Бугримскую рощу... Зря мы туда пошли!.. Я понимаю, Генрих, как человек, думающий и чувствующий образами, хотел ввести, включить меня в атмосферу своих воспоминаний. И я в них действительно погрузилась. Поэтому, когда первый, второй и даже третий комар с нежным зудением коснулись моей голой руки, потом ноги, я не обратила на них внимания. Но только мы углубились в березовый массив, они набросились на меня десятками. А мне показалось, что сотнями. У меня с этими насекомыми полное несовпадение чувств. Они меня обожают, всегда в любой компании выбирают (хотя у меня не первая группа крови; я читала, что кровососущие ее предпочитают). А у меня, наоборот, на их поцелуи жуткая аллергия, патологический зуд, расчесывание до волдырей и нарывов. Минут десять я терпела, охлопываясь руками, сломанной спутником веткой. И дослушала до того, как в сорок пятом Ира вернулась с родителями в Москву, как они кинулись переписываться... Подробно сообщали о своей жизни. Она – об учебе в школе имени Гнесиных, о посещении московских премьер. Ему тоже было чем похвалиться. Стал ходить в театральную студию при Новосибирском ТЮЗе. Вместе с несколькими мальчиками и девочками из своего десятого класса.

Тут бы надо мне слушать особенно внимательно – начинался главный сюжет. Но меня так заели комары, что я уже ни о чем думать не могла, летела по кочкам, стараясь вырваться на открытое место. Самое интересное, что Генриха комары не трогали. То ли не по вкусу был? Или он их просто не замечал? Но вот, что мне плохо, увидел сразу. Сломал еще одну ветку и размахивал ею вокруг меня, другой рукой ухватил мою ладонь и потащил сначала из рощи к реке, а потом по-над Обью к мосту, в город. Я не сопротивлялась. Шла так быстро, как могла. Уже было мне не до пейзажей, не до рассказов. Наконец, стая кровососов отстала. Мы оказались у моста. Генрих спустился к воде, намочил носовой платок и стал осторожно обтирать мои укусы и нежно дуть на них...

– Дурак я, дурак, – приговаривал он. – Куда тебя завел!

Вдруг на «ты» перешел. Так был смущен, огорчен, что я его пожалела:

– Да ладно. Что за драма такая? Убежали ведь...

– Ну что? Домой? – он с необыкновенной нежностью вложил мою ладонь в свою. И я опять удивилась своим ощущениям.

– А сколько времени? – поинтересовалась я. Было совсем светло.

– Около девяти. – Генрих смотрел на меня умоляюще... Я не устояла:

– Ну, можно еще походить... Только в другом месте...

И мы отправились вверх от Оби по каким-то закоулкам Кривошеково, про которые мой спутник рассказывал: здесь он снимал жилье в десятом классе, когда отца перевели на

несколько лет из Новосибирска в Маслянино. А вот школа рабочей молодежи, в которую ему пришлось уйти, когда он в обычной нахватал двоек.

Дальнейшую его повесть я все равно дословно не помню. Она длилась еще три-четыре часа, далеко за полночь. И разумней будет рассказать ее, как она сложилась в моем представлении, со всеми дополнениями и поправками, услышанными позже и от Генриха, и от других ее персонажей и дорисованную моими собственными наблюдениями.

Школьная, первая любовь, как правило, кончается ничем. Да если еще вмешиваются время и расстояние. Ну, у Иры в Москве светлый, ровный платонический огонь горел, конечно, дольше. Девочка. На полтора года моложе. Размеренная школьно-семейная атмосфера.

Генрих же вошел в новый, непростой виток своей биографии. С одной стороны – семнадцать лет, самое время гормональных катаклизмов. С другой – отъезд родителей, полный хозяин своему времени, своим поступкам, господин своих решений. С третьей – вдруг попал в эту театральную студию при ТЮЗе. В компанию новосибирской золотой молодежи. Все (или почти все) хорошо одеты. Никто понятия не имеет о драниках, на которых он рос в годы войны. Все подают надежды, все – будущие знаменитости. Кого-то даже приглашают играть в спектаклях. Пусть в массовках, эпизодах... И он вдруг выдвигается в этой изысканной компании студийцев в первые ряды. Нет, не актерским талантом. Хотя в массовках пару раз участвовал... Генриха приветили, заметили прежде всего как художника и декоратора. И не кто-нибудь, а заведующая педчастью ТЮЗа Софья Модестовна Войно-Радзевич.

О, как только мой спутник назвал это имя, я вострепелась. Эта дама была мне неплохо знакома. Я ведь была главный театральный рецензент в нашей газете. А репертуар ТЮЗа абсолютно соответствовал задачам воспитания армейской молодежи. Тут и «Пароход зовут «Орленок» Галича, и «Гимназисты» Тренева, и «В добрый путь» Розова. И естественно, что солдатиков Новосибирского гарнизона поочередно, часть за частью, но неотвратимо, как на стрельбы, водили на эти спектакли. А меня Софья Модестовна приглашала на премьеры, чтоб я своими сладкоголосыми рецензиями соблазнила замполитов на массовые культпоходы. И я от души старалась. Театр был хороший, актеры – просто отличные. А идеологических противоречий с советской драматургией у меня пока было немного. Скорее по линии формы, нежели содержания. Поэтому были мы с Софьей Модестовной не просто в деловых, а в почти дружеских отношениях. Но вот это «почти» сохранялось. Меня коробила, смущала ее королевская не только осанка (которая ведь от бога; или все-таки от черта?), но все поведение, обращение с окружающими, в том числе со мной, как с некой космической пылью, какими-то там метеоритами, в крайнем случае астероидами, то ли вращающимися вокруг главной звезды или случайно пересекающими ее орбиту. Высокая, всегда подтянутая, безупречно одетая, как на прием, так же причесанная и подкрашенная, она дарила вас своей благосклонностью. Давала вам ценные рекомендации. Подсказывала свое мнение. Хорошо, что я, рецензент со стажем, знала: в театре есть персоны поважнее – режиссер, ведущие актеры, завлит, директор в конце концов. А главное – и они мне – не указ. Поэтому, предоставив Софье Модестовне королевствовать, я ходила на те спектакли, на которые считала нужным, и писала о них что и как хотела. А вот классные руководители и замполиты наверняка перед нею трепетали.

А в сорок пятом безусловно трепетали школьники из театральной студии. У Генриха же все складывалось гораздо сложнее. С одной стороны, он уже почувствовал себя взрослым, самостоятельным человеком с собственными мнениями, привычками. С другой – силой обстоятельств попал от гранд-дамы в иную, но еще более опасную зависимость: влюбился, так же очертя голову, как сегодня в меня (я про себя надеялась, что «не так», что его нынешние чувства другого качества), в девочку... Нет, в девушку-студийку... которая была... дочерью Софьи Модестовны... В Стеллу Войно-Радзевич.

Почему я раздумала называть ее девочкой, а повысила до статуса девушки? Ведь она была годом или двумя моложе Генриха, училась в девятом (или восьмом?) классе. Но звание «дев-

чонка» (или вот еще «пацанка», как меня, двадцатидвухлетнюю, аттестовал в Бийске Виталий) Стелле совсем не подходило. Она с детства несла тяжкое бремя. Сначала – просто красавицы. А в старших классах – уже не только самой красивой девушки в городе, но и самой модной, изысканной и к тому же – талантливой. Которой суждено необыкновенное будущее. В смысле – безоблачное, обеспеченное, комфортное. С достойным, выдающимся избранником. И тот, при всех своих успехах и заслугах, будет считать брак со Стеллой невиданным подарком судьбы, выпавшим на его долю. И ежедневно, ежесекундно стараться этот дар отслужить. Такой сценарий не из книжек Стелла вычитала. Она эту пьесу наблюдала с первых дней жизни. По нему строились отношения Софьи Модестовны с мужем, успешным новосибирским адвокатом Владиславом Викентьевичем Войно-Радзевичем. Он был не просто известен и востребован. Главное – обеспечивал семью по самому высокому разряду. Наряды и со вкусом подобранную бижутерию Софьи Модестовны я видела сама. А Генрих как-то мельком упомянул, что в этом доме и в сорок пятом, и в сорок шестом – сорок седьмом годах (первых послевоенных, скудных, голодных) шоколад не переводился. И это меня впечатлило больше всяких изумрудов и рубинов. Потому что, купив драгоценный перстень, ты мог им похвалиться ежедневно, хоть тридцать лет. А чтоб угощать шоколадом знакомых (или есть самому) каждый день, надо было наполнять свой кошелек ежедневно. А главное – знать – из-под какого прилавка этот дефицит продают. Впрочем, последнее касается и рубинов.

Но это еще не все. Владислав Викентьевич был не только талантлив. Не только добычлив. Он был рыцарь семейного очага во всем. Готовый, если надо, избавить красавицу-жену от всех бытовых забот, встать на стражу ее нервов, ее настроения, ее белых ручек. Чаще всего, конечно, с помощью хрустящих купюр. И всяких там домработниц, постоянных и приходящих. И технических приспособлений. (А что тогда было? Разве что вентилятор? Ну и, конечно, коммунальные удобства.) Однако была война. Случались переезды, ремонты, карточки, очереди. Редко, но случались. И в этом разе муж не брезговал, своим долгом считал взять в руки тряпку, веник, поварешку, подать, унести, затопить, съездить... Лишь бы оградить от малейших неудобств и усилий жену. А потом – и дочерей.

Их было две. Старшая, Геля, выросла непохожей на мать. Личиком миловидная: ровненький носик, большие глаза, стройная фигурка. Но то ли потому, что росту не хватало, то ли родилась в не слишком тучные годы, но характер сформировался скромный, доброжелательный, услужливый. А может, появившаяся через три года сестра, сразу обнаружившая свой норов и свою красоту, легко отодвинула в тень менее удачный плод образцового брака.

На всякий случай Гелю тоже готовили к артистической карьере: она училась играть на скрипке. Но особых надежд в семье на старшую дочь не возлагали. Когда Генрих был допущен в этот дом, Геля уже училась в консерватории, закончив которую, попала в симфонический оркестр Новосибирской филармонии. Стелла же кончала не знаю что – музыкальную школу или училище? Тут обнаружилось, что с ней я тоже встречалась. И тоже – раньше, чем с Генрихом. Когда он, перелистывая страницы своей семейной саги, упомянул, что в Томске жена уйму времени проводила в военном училище на репетициях и концертах будущих артиллеристов, то меня как молнией ударило. Ведь в прошлом году я чуть не месяц расписывала в «Советском воине» окружной смотр художественной самодеятельности. И когда сообщала об успехах Томского артиллерийского училища, то отдельной строчкой отметила прекрасную игру аккомпаниатора. Да-да, точно – Ивановой. Я не стала сообщать об этой встрече своему спутнику, но тут же вспомнила, как она выходила на сцену – с той же царственностью Софьи Модестовны, того же высокого роста, с той же безупречной фигурой, только потоньше, и с тем же высокомерным выражением больших глаз. Только нос был не римский, а прямой, тонкий, как у сестры.

Черт возьми! Весь мир – одна большая деревня! Куда ни заедешь, куда ни залетишь – всюду окажется Надя Полежаева из Вильнюса. Или мой дед переедет в Томск из Астрахани, чтобы поставить в Доме ученых «Безымянную звезду» Садовяну. Чтобы Генрих, распределив-

шись в Томский «Желдорпроект», посмотрел этот спектакль со своей женой Стеллой Войно-Радзевич, тьфу, Ивановой. А потом, уже во время наших ночных блужданий, очаровал меня знакомством с этой экзотической пьесой.

А пока я только в начале этой семейной истории. Пока Генрих вел свой рассказ, я, пытаюсь постигнуть все психологические тонкости обстоятельств, не вполне понимала, почему он никак не получал ответа на свои чувства. Такой образованный, интеллигентный молодой человек! Такой воспитанный! И внешне вполне привлекательный! Ну, разве что экстравагантный! Но это же еще интересней!

Только позже, когда я получила в руки и рассмотрела с десяток студенческих фотографий Иванова с этими полудлинными, зачесанными наверх по тогдашней моде, но падающими вниз негустыми волосами, с этими очками в маленькой, дешевой круглой оправе, с выделяющимся на худом лице носом, делающим его похожим на сову, в плохо сшитом пиджаке и мешковатых старых брюках, я догадалась, каким инородным телом он выглядел в одном из лучших домов Новосибирска. А тем более рядом с первой красавицей.

Ох, потом уж в сорок, пятьдесят, шестьдесят своих лет я досконально узнала этот мир провинциальной элиты – и Новосибирска, и Ростова, и Тюмени, и даже крошечного нефтепоселка Ханто! И в Москве они есть, и в Питере, эти «сливки общества», со своей фанаберией, чугунными оградами, евроремонтом, дресс-кодом и кастовыми замашками. С отторжением всего, что не их псевдоголубой крови. Будь ты хоть Микеланджело, хоть Эйнштейн, хоть Корбюзье.

Однако преодолел Генрих это высокомерное отторжение, проник сквозь эту глухую стену, стал со своей мечтой на равную (или почти равную?) ногу. Чем заслужил, добился?

Ну, думаю, если не сама девушка, то ее неглупые, практичные родители оценили кое-какие достоинства молодого человека. Софья Модестовна так просто в нем нуждалась. А Владислав Викентьевич знал и по своему адвокатскому и просто по жизненному опыту, что из юношей «голубых кровей» редко вырастают дельные работники и верные мужья. Такие, каким хотелось бы доверить свое сокровище. В этом же мешковатом, бедно одетом парне что-то подразумевалось. А главное, раз уж Генрих чем-то загорелся (а он просто пылал страстью), то не только вздыхал, а выращивал в себе те качества, на которые в этой среде был спрос. Учился хорошим манерам. Развивал свой вкус. И не только в поэзии и музыке. Но и в отношении к своей одежде. Прическе. В этом направлении, я думаю, Генрих особенных успехов достиг в последние годы жизни. Под непосредственным руководством жены. Представляю, сколько выволочек и язвительных замечаний ему за девять лет брака досталось! Нет, не представляю. Он мне сам на это намекнул июньской ночью.

И все-таки самым главным генератором чувств красавицы стали тщеславие и ревность. Вначале она взирала на пылкого поклонника, как на бросовый товар. И невзрачный. И бедный. И двоек нахватал. Пусть даже из-за любви к ней. Пришлось в вечернюю перейти. Школа рабочей молодежи – это что-то вроде лепрозория. Даже непроизносимое. И уж больно обожающе смотрит. Стоит только пальцем поманить – приползет.

Но в студию набилось очень много хороших, умных школьниц. И с некоторыми из них ее верный паладин подружился. И то какая-нибудь Лиля Заплатина (будущая прима ТЮЗа), то Люда Грешнова (дочка главного новосибирского писателя), то Ада Соколовская, одна из самых хороших девиц в студии; ну пусть не так безупречно вылепленная, как Стелла, но зато – приветливая, хохотушка, что ценится молодыми людьми, рассказывала, как она вчера замечательно наболтала с Генкой за кулисами, когда ожидала своего выхода, а он подмалевывал задник. Или как случайно встретила с Ивановым в кино, а потом вместе шли домой и оказалось... Не важно, что «оказалось». Вернее, важно, что оказалось – такой невзрачный и полностью принадлежащий ей субъект может быть востребован, а то и прихвачен другой девушкой. А тут от одной из бывших одноклассниц Генриха стало Стелле известно о его

недавнем «романе» с эвакуированной москвичкой. Она не постеснялась тут же напрямую, с насмешками и подколками спросить об этом своего кавалера. К чести Генриха, он ернического тона не принял, а серьезно, уважительно рассказал о своих чувствах к Ирине. Добавил, правда, что пионерская влюбленность на расстоянии перешла в дружбу. «Но мы переписываемся», – сказал твердо.

Это задело Стеллу, оскорбило! Как, когда она рядом, когда снизошла, что проводит с ним такие драгоценные свободные минуты! Позволяет говорить о чувствах! Он еще с кем-то переписывается!

О том, что ревность к Ире подвигла Стеллу не только на слова, но и на поступки, я узнала не в тот вечер и не от Генриха. А пятьдесят лет спустя от Ирины Шур. А она – в конце сороковых годов от той самой новосибирской приятельницы, которая проболталась Стелле о ее существовании, а потом написала Ире: «Стелла ездила на зимние каникулы в Москву, несколько раз подстерегала тебя у вашего дома. Представляешь, выпросила у меня адрес твой, увела твою карточку. А потом мне говорила: «Ну и что? Обычная девчонка! Да еще чулки перекрученные!»

– Как она чулки на улице зимой разглядела? – удивлялась Ира. – И как школьные, в резинку могли перекрутиться?

Генрих все это мне рассказывал не так последовательно, связно, зато более образно, с какими-то яркими деталями, штрихами. Например, как Софья Модестовна поручила ему сделать эскиз программки студийного спектакля. Что-то Островского ставили.

– А мне вдруг кто-то из ребят «Строителя Сольнеса» подсунул. Знали уже, что я на архитектурный собираюсь. И я так увлекся. Представил, что мне декорации поручены. Кучу набросков сделал. Особенно бился с башней, с которой Сольнес будет падать... А программка-то... Когда спохватился – назначенный день уже прошел... Я быстро какой-то вариант изобразил... И прямо в воскресенье... На дом... В святая святых... Сначала Софья Модестовна со мной через порог разговаривала. В суровом, уничтожающем тоне... Потом развернула картинку, смягчилась, говорит: «Зайди, только ботинки грязные сними». А у меня носки дырявые. Ну все, как в соцреалистическом романе: какой-нибудь пролетарий приходит в княжеское семейство. Я ремень ослабил, чтоб обшлага брюк ступни прикрыли. Коекак прошаркал в столовую. А там обедает весь новосибирский бомонд: Михайлов, Глазырин, Гаршина, Елизавета Стюарт... Одна фамилия чего стоит – Стюарт. А в сочетании с именем – просто королева. И вид у всех королевствующий. Софья Модестовна меня представляет: «А это мой студиец – Генрих Иванов». Все уставились, как на дворника, пришедшего поздравить с Рождеством и получить то ли рюмку, то ли полтину. Проклинал себя, что пришел. Стеллка недовольную гримаску скорчила. Софья Модестовна вышла куда-то с моим блокнотом. Владислав Викентьевич, нехотя как-то: «Проходи за стол, пообедаешь с нами». Я, слава Богу, не поддался соблазну, говорю: «Опоздываю на консультацию». Тут вышла хозяйка, сунула мне блокнот в руки: «Я там замечания свои написала. Исправишь и завтра приноси в театр. И чтоб без опозданий. Да, зайди сегодня к Жене Чернику, напomini ему, что в четверг репетиция».

Не стоило дырки на носках маскировать. Мог перетоптаться в прихожей. Но я все эти щелчки, уколы, обиды глотал, как горькое лекарство, залпом. Даже водой не запивал. Ведь наградой за все неприятности мне была Стеллка. Сегодня пытаюсь разобраться, почему так страстно был в нее влюблен? Ну, во-первых, была она, или казалась, или считалась необыкновенной красавицей. И действительно – все при ней. Но ведь Ирка Шур объективно – ничуть не хуже внешне. Тот же высокий рост, такая же стройная фигурка. Те же большие глаза. И волосы густые. И черты лица правильные. И даже обе в этом ореоле музыки. К тому же Ирина во сто раз милее своей простотой, добротой. Так нет, как раз это высокомерие, недоступность, гордость что-то во мне разжигали, возбуждали. И потом, конечно, наряды, платья все эти, туфельки изящные, шубки, прически. Еще какие-то мелочи. Со всеми этими атрибутами женскими,

которые для того и существуют, чтобы воображение и чувственность разжигать, я впервые столкнулся. И потом, знаете, – он слегка дотронулся до рукава моей крепжоржетовой блузки и поправился: – Знаешь, очень много значит, что женщина сама о себе думает. Если уверена, что красавица, что сокровище, если цены себе не сложит, то большинство мужчин подпадает под этот гипноз. Особенно если парень в себе не уверен. Если жизненного опыта нет. (А я про себя подумала: «Если чересчур эмоционален».)

Ох, мы наконец повернули в сторону «Больничного городка». Мне было очень интересно слушать Генриха, да ноги еле переступали. К счастью, проходили мимо кинотеатра «Металлист», а возле него приютилась парковая скамейка, никем по ночному времени не занятая. Я на нее просто рухнула.

Теперь Генрих рассказывал, как в какой-то момент его рейтинг... (нет, он произнес какое-то другое слово, «рейтинг» не употреблялся ни в сорок шестом, ни в пятьдесят девятом) скорее статус, упрочился. После того как он успешно поступил на архитектурный.

Стеллу же, наверное, раззадорила поездка в Москву, дифирамбы, которые пели Иванову студийные девушки. И еще в ней, у которой среди кавалеров водились не только школьники, но и вполне зрелые и опытные молодые люди, уже пробуждался темперамент, который приятно и безопасно сублимировался в отношениях с Генрихом.

Вот тут-то и таилась роковая ошибка. Ее допустила не только молоденькая девушка, но и ее хитро-мудрые высокомерные родители. Генрих уже перешел на второй курс НИСИ. Стелла поступила в пединститут на иняз. Не Бог весть что! Но куда? Куда? Университета в Новосибирске тогда еще не было. На консерваторию способностей не хватало. И связи не помогли. Склонности же были гуманитарные. Но можно будет поступить в аспирантуру. Или стать переводчиком...

– В это время, – рассказывал Генрих, накинув мне на плечи свою светлую хлопчатобумажную куртку и оставшись, нет, все-таки не в майке, а в какой-то рубашонке, – в это время я уже был принят в доме. Ну, не как ухажер, кавалер, поклонник, а скорее приятель. Может быть, паж, оберегающий принцессу. Или запасной игрок из второго состава. И вот как раз в роли пажа мне предложили на зимние каникулы поехать со Стеллой в пригородный дом отдыха. В лес. На лыжах покататься. Владислав Викентьевич по своим каналам достал тридцатипроцентные путевки...

И мы поехали. Все чин-чином. Она – в двухместной палате с какой-то великосветской знакомой. Я – с тремя мужиками. Но – за одним столом. И лыжи. На которых Стеллка – не очень. А я – лихо и даже с неким шиком. И с большим удовольствием. И танцы в клубе. Оказалось, что я хорошо танцую. И целоваться удобно и приятно в лесу. Очень приятно. Неожиданно ей понравилось. А ее напарница иногда отъезжала на полдня, а то и на день в город. И случилось то, что должно было случиться. Боже! Как я был счастлив! Но и смущен, испуган... Нет, прежде всего – счастлив! Теперь эта ослепительная, фантастическая девушка принадлежала мне! И, едва вернувшись в Новосибирск, я рассказал обо всем родителям. Они как раз вернулись из Маслянино, и отец получил квартиру в центре города. В коммуналке, но две комнаты. Мне казалось, что этого вполне достаточно для будущего моего семейного рая.

Мама с отцом тут же засобирались идти к Войно-Радзевичам свататься. Но я сказал, что следует подождать. Я, конечно, догадывался, что реакция родителей Стеллки будет совсем другая. Она, кстати, не спешила поговорить с матерью. И только когда поняла, что беременна, поставила Софью Модестовну и меня в известность одновременно. Вот тогда я спустил родителей, что называется, с поводка. Они этого визита до сих пор не забыли. Особенно мама.

Нет, нецензурных слов в этом доме не употребляли... Но оскорблять умели. Особенно Софья Модестовна. На людях такая комильфо, в семье она давала волю языку. А в тот день особенно. Ведь была в своем праве. Я оказался и подлец, и негодяй, и даже вырвалось, что насильник. Правда, Владислав Викентьевич, подробно вникнувший в ситуацию, эти намеки

на уголовную ответственность пресек. Но зато мать и отца облили грязью с ног до головы. Они были полуграмотными плебеями, которые вырастили бесчестного, бессовестного, безответственного, растленного...

– Так ведь любовь, – лепетала мама.

Отец мой тоже пытался Софью Модестовну утихомирить:

– Давайте не будем ссориться и найдем правильный выход из положения. Ведь их теперь трое. И действительно – любовь. Генка мечтает о женитьбе...

Тут Софья Модестовна отбросила всякий пиетет:

– Женитьба?! Моя дочь – за мерзавца? За голодранца? И вы воображаете, что она собирается рожать от вашего уroda? Да ни за что на свете! Ваш сынок понимал, что никаких надежд у него нет, и решил таким образом своего добиться... Нет, нет и нет! Не будет этого! Вон из моего дома!

– Вот примерно такой состоялся разговор, – Генрих перевел дыхание. – Потом мне все-таки удалось встретиться со Стеллкой. Я и умолял, и убеждал ее не делать аборта. Рисовал фантастические картины нашей будущей счастливой семейной жизни. Ответ был один: «Не хватало еще нищету плодить. Если ты дурак, то я должна о своем будущем подумать».

Скоро все это свершилось. А потом мне совсем перекрыли все входы, все двери, и ей – все выходы. Я вроде как обезумел. Никакая учеба, ничто меня не интересовало, никого я не хотел видеть. Писал сумасшедшие письма, подстерегал... Пока Софья Модестовна не пригрозила, что заявит в милицию. Я только не понял, о чем... Перестал ходить в институт, нахватал двоек и незачетов. Вызвали в деканат – не пошел. Кто-то из преподавателей меня встретил, вида моего испугался... Поговорил. Посоветовал взять академ. Я как раз в эти дни от безысходности написал Ирке в Москву. Крик души какой-то. А кому еще? С родителями о таком не говорят. Она сразу ответила. Посоветовала действительно взять академ, приехать в Москву, может быть, перевестись в МАРХИ. У нее (скорее, у ее родственников) кто-то там был знакомый. Врач, к которому я пошел за справкой, разговаривал со мной, как с тяжелобольным. Диагноз поставил «невроз», но, боюсь, про себя считал шизофреником. И уехал я в Москву. Чуть меньше, чем на год. Никто меня в МАРХИ не взял. Зато помогли устроиться в реставрационные мастерские Троице-Сергиевой лавры.

– Странная жизнь была, – рассказывал Генрих. – Оказывается, есть какие-то крючки, за которые тонущий может цепляться. Спасательные круги. В этих реставрационных мастерских все удачно для меня сплелось, сошлось. Ну, во-первых, все новое: место, люди, обстановка. Во-вторых, работа. Я, пожалуй, впервые почувствовал, как правильно выбрал... Архитектуру... Никогда не надоедало думать над решениями... Выполнять задания... Причем не только архитектурные... Чисто подсобные – раствор готовить, что-то обтесывать, прилаживать. Даже на работу каменщиков, маляров смотрел с удовольствием... И многому в эти месяцы у них научился. Когда пришлось сдавать зачеты по производственной практике, я среди ребят, стыдно хвастать, всегда на самый высокий разряд бывал аттестован. Нас в институте тогда всем строительным специальностям обучали...

– Ну и первейшее, конечно, наслаждение – все эти фрески разглядывать. Из храма в храм переходить... В каждом мне какая-то своя загадка чудилась. Будто архитектор и художник что-то мне о смысле жизни шепнуть хотят. Я там много рисовал, но получалось плохо. Видимо, чтоб разгадать чужую загадку, надо ее со своей соединить. А у меня еще никаких мыслей архитектурных, тем более догадок – не было. Так – восторженный провинциальный недоросль. Но во всяком случае – масштаб мира, его горизонт почувствовал. И свое крошечное в нем место. И горе мое уже не воспринималось как мировая трагедия. Вот только ребеночка этого моего первого все равно до слез...

Генрих встал со скамейки, отошел в сторону, в тень кинотеатра, чиркнул спичкой и минут пять курил там. Вот теперь я догадалась, почему «Разговор» Кедрина его так задел. Вернулся,

сел рядом, взял на секунду мою ладонь в свои, потом отложил ее бережно мне на колени, как хрупкую, драгоценную вещь, и продолжал:

– Ирка, конечно, меня поддерживала, вытаскивала. И дома я у них был как родной. И в театры она меня таскала. И по музеям, по городу. Но главное – разговоры... Ни о чем... А то – обо всем... Я ей самое страшное, стыдное мог сказать... Нет, все-таки вру, не все. Объяснить, почему ее предал... Нет, объяснить мог бы, да не посмел. Язык не поворачивался сказать, что не было у меня в юности к ней этого влечения, страсти. А главное – и там, в Москве, не возникало. Ведь уже промелькнуло несколько месяцев, когда первая горечь улеглась, мысль – может, начнем все сначала. Она такая замечательная! Такая родная!

Генрих замолчал. Опять потрогал мою руку.

– Ну, не чувствовал я в ней женщину. Загадка какая-то. А вот как про Стеллку, бывало, подумаю – все равно жжет.

Он легко поставил меня на ноги:

– Ну, скоро конец моей истории. Да и пора вести вас домой. Валентина Акимовна, поди, волнуется. – Опять взял меня под руку. – Да, мы, ведь кажется, с «выканьем» покончили?

– Вопрос не обсуждался, – заметила я. – Но как вам удобнее.

– Ну, раз я эту черту переступил, назад возвращаться неохота. Все-таки какая-то высотка или укрепление взято.

Мы шли по направлению к дому, но опять каким-то круглым путем.

– Вернулся я в Новосибирск, восстановился на втором курсе. И с нервной системой у меня стало получше. Еще следующим летом отец достал мне на службе путевку в санаторий на берегу Черного моря. Там такая отличная компания подобралась, как раз из Новосибирска. Молодая пара, она – медичка, он – тоже из НИСИ, только – пэгээсник. Прогулки, настольный теннис, плавание... Нет, не все так розово. Еще до этого санатория я пробовал со Стеллкой встретиться, поговорить. Бесплезно. Она меня гнала, гадости говорила. И про нее мне говорили... Нет, не буду... Нехорошо это. В общем, постепенно заросло. Работы на архитектурном много: математика, начерталка, строительная практика, история архитектуры, история искусств, рисунок... И друзья появились на факультете настоящие.

Но вот на четвертом курсе где-то мы с ней пересеклись. Случайно... Мимолетно... И она сама подошла. А у нас разница в курсах отпала – из-за моего академика. Больше того, Стелла в пятьдесят первом уже заканчивала свой пед. Там срок обучения – четыре года. А мне еще предстояло учиться. Архитекторов, как и врачей, готовят шесть лет. И так все быстро закрутилось снова. Причем не только между нами, но и ее родители не возражали. Софья Модестовна при встрече и через Стеллку в гости приглашала. И принимали очень мило. Конечно, я был уже не тот вахлак. Но все равно – дистанция никуда не делась. Только иной раз ее старались сократить, замазать. А то вдруг в порыве какого-то раздражения подчеркивали, носом в нее тыкали. Но огонек моей чувственности уже разгорелся с новой силой. Да и свой долг я, по тогдашним понятиям, знал. Короче, перед окончанием Стеллой института мы поженились. Родители мои опять жили в деревне. Я – в общежитии. Жена – в отчем доме. Назначение в сельскую школу ее миновало. И стала она преподавать немецкий в институте. Папины, а может, мамины связи помогли. Жизнь же наша интимная, которая была главной целью, смыслом моей женитьбы, носила какой-то виртуальный характер. Она ко мне в общежитие брезговала приходить. Хотя с ребятами я мог всегда договориться. А в ее доме тоже все получалось боком.

Но, так или иначе, через полгода после регистрации жена моя опять забеременела. И снова – аборт. Резон «незачем нищету плодить» присутствовал по-прежнему. Но еще прибавилась боязнь испортить свою безупречную фигуру. «Ты посмотри на маму, – говорила Стеллка. – Она ведь на старых фотографиях как тростинка. А теперь и живот торчит, и бока. И никакие курорты, диеты, массажи не спасают».

– Нет, нет, – Генрих оставил мою руку и опять достал сигарету, – не хочу даже вспоминать. В пятьдесят третьем я защитил диплом, получил назначение в «Томскжелдорпроект» и уехал. Она осталась в Новосибирске. Я должен был определиться с квартирой, обустроиться и прочее. Это года полтора-два тянулось. Я жил на съемных, в общежитии, потом получил комнату в коммуналке. Стелла ко мне приезжала. На неделю. На месяц. Но больше двух не выдерживала. Томск ей не нравился – дыра. Люди из моего окружения – тем более. Поговорить не с кем... Пойти – некуда... А я как-то сразу вписался. Архитекторов с хорошим, базовым образованием в «Желдорпроекте» – раз-два и обчелся. Меня хоть и приняли на самую маленькую должность, сразу включили в два проекта. Потом дали самостоятельную работу, повысили в чине, увеличили зарплату. Я, когда это произошло, помчался на несколько дней в Новосибирск (воскресенье плюс какие-то праздники), похвалиться. Обрадовать – на новое жалованье можно и в Томске неплохо жить. Без салатов оливье Софьи Модестовны. И связей Владислава Викентьевича. Как Стелла смеялась! «Именно что жалованье! От слова «жалкое»! Когда у тебя появятся представления о том, как должен жить интеллигентный человек?» Я сорвался чуть не в первый раз: «При чем здесь «интеллигентный человек»? У тебя идеалы жадной мещанки. Все внутрь, все на себя. И семья твоя на этом стоит. И ничего ты никому нести, отдавать не хочешь. Ни знания, ни ума, ни чувств. Ни ученикам своим, ни людям вокруг. Ни мне, тем более». Был жуткий скандал. К нему и Софья Модестовна подключилась. А я был прав в главном – она меня ни капельки не любила. И, конечно, не уважала. А в Новосибирске Стелла по-прежнему была в центре «избранного общества» нарядных подруг. И интересных мужчин. И их отношения даже не слишком маскировались. Может, это больше всего меня бесило. Ревность – тяжелое чувство...

Но все-таки через два года Стелла перебралась в Томск. Что ее подтолкнуло? То ли подружки повыходили замуж, то ли кавалеры переженились, но «бомонд» распался. А может, кто-нибудь из поклонников опять не оправдал «матримониальных» надежд?.. Как, видимо, ушел кто-то достойный с крючка перед окончанием пединститута и пришлось довольствоваться жалким пескарем вроде меня. Чтобы не загреметь в село.

Ну, вначале все как будто наладилось. Дважды приезжала в Томск моя мама, помогала наладить быт, все мела, стирала, уют организовывала. Но угодить Стелле было трудно. Все – не так. Все отвергалось, все раздражало. И денег всегда не хватало. Хотя к моей растущей зарплате прибавлялись приличные командировочные, которые я старался в поездках экономить. И какие-то левые у меня проекты завелись. И она сама устроилась на работу. И в том же Доме офицеров ей, как аккомпаниатору, платили. Правда, оказалось позже, что значительная сумма попадала в сберкнижку на ее имя. Чтобы потратить деньги должным образом, когда вернется в Новосибирск. Потому что оставаться в Томске жена не собиралась. Ни за что. А мне там нравилось. И проектные мои удачи. За эти годы я заложил стадион в центре города, жилые дома в Улан-Удэ, в Красноярске, и в Томске тоже. А еще – парк. И командировки по Восточной Сибири. Я побывал и в Иркутске, и в Туве, и на Байкале.

Уезжал иной раз с радостью, от скандалов, от ссор. Но в командировках соскучивался, спешил домой. А там – упреки, что вечно мотаюсь, бросаю ее одну, бездельник, бестолочь, никакой помощи от меня. Хотя я чувствовал – Стелла тоже временами ждет не дождется, чтоб я куда-нибудь свалил... Иногда я мечтал: появился бы ребенок, все бы вокруг него наладилось. И так обрадовался, когда это случилось. Но Стелла тут же уехала в Новосибирск на известную операцию. Сохранять свою фигуру. И спастись от нищеты... Больше потом уже не беременела. Когда-то в пылу ссоры, уже здесь, в Новосибирске, выкрикнула, что, слава Богу, теперь ей эта гадость не угрожает...

Мы уже подходили к Больничному городку. Я еле плелась, повиснув у спутника на руке. А он все рассказывал:

– Я хоть понимал, насколько мы не совпадаем, да уже и моя любовь, даже страсть испарились, но все не хватало духу из этого капкана вырваться. Да и никаких других вариантов не видел. И как за последнюю соломинку подумал ухватиться за возвращение в Новосибирск. Стеллка помимо абортных несколько раз уезжала со скандалом из Томска. Я – то махал рукой. То – мчался вслед. Короче, ни последовательностью, ни характером не отличался. И вот во время одной такой поездки пошел по проектным учреждениям. Что-то предлагали, но неподходящее. Зашел в родной институт. А там как раз открылась аспирантура. И я кстати подвернулся. И когда я об этом Стелле сказал, она загорелась сильнее меня. Конечно, кандидат архитектуры! Звучит! А потом – доктор! Даже мою непрезентабельную личность можно таким званием подшуткагурить. Или заgrimировать? А за полтора года до этого мой отец получил двухкомнатную изолированную квартиру возле той самой трамвайной остановки. Я прямо как танк на родителей попер. И они тут же сдались. Сами перебрались в первую, проходную. Мамину мать устроили спать в большой прихожей, в нише. Кухня, правда, громадная. Обе старушки там весь день и проводят. А у нас – просторная спальня. С окном в тихий двор.

Но что толку? Хоть и работать Стеллка стала в том же институте связи. Ей обрадовались. Язык она знала хорошо. И я от нее многому научился. У меня в аспирантуре – никаких командировок, режим почти свободный, всегда готов к услугам. Но зато – сколько дополнительных поводов для стычек, обид, столкновений, раздражения. Собака, от которой куча грязной шерсти. Старая, деревенская, болтающаяся под ногами бабушка. Мама со своими услугами некстати. Отец с дешевыми сигаретами. Но главное, главное – ничего общего, никаких точек соприкосновения, никаких общих друзей. Мои приятели ей противны, мне ее фифы и кобели отвратительны. По любым вопросам – политики, морали, даже по житейским мелочам – схлестываемся. Жить неохота. Год, как мы переехали из Томска, а я уже последние месяцы чувствовал: подступает ко мне опять мой невроз, то ли психоз. Стелла стала частенько сбегать к Софье Модестовне под крыло. Там ее всегда ждали. Геля замуж так и не вышла. Был какой-то роман, но мать этого «простого инженера» прогнала поганой метлой, как меня в свое время. Тем более что старшей дочери село не грозило.

А я все больше думал: с какой бы крыши шагнуть? Или хоть в какой адюльтер кинуться, чтоб тут все рухнуло, с грохотом, со скандалом. Но чтоб разжались эти тиски вокруг моей шеи... Нет, вокруг моей души...

– А Ирина? – невпопад спросила я.

– Ну, я уже объяснял, что Ирка мне давно стала как сестра. А во-вторых, она, пока я тут дрова ломал, успела в Москве замуж выйти. Спасибо богу – он мне помог – Надю эту Полежаеву подсунил. Я тут на нее с полгода поглядывал – неглупая, славная и на ощупь годится. Может, отправиться с ней в какие-нибудь кустики? Только умоляю, ей не надо говорить. Не хочу ее обидеть... Я теперь, если бы не был атеистом, каждое утро и вечер за нее богу бы молился. Что она меня к моему счастью, к судьбе, можно сказать, за руку привела...

Мы уже подходили к моему дому. Я свалилась от усталости, даже не знаю на что. Вроде скамеек возле крыльца не водилось... Значит, на само крыльцо. Мой спутник только успел подстелить мне какую-то свою одежду и устроился рядом. Утомленная нескончаемым путешествием, всеми этими горками, кочками, выбоинами, спусками, подъемами, переулками извилистыми, а главное – свалившимся нежданно-негаданно грузом чужой жизни, – я уперлась в его грудь своим плечом. Потом пристроила куда-то отяжелевшую голову. Наверное, на ту же грудь. Произошло это, как все у нас – совершенно естественно. Через несколько минут я обнаружила, что Генрих сидит на ступеньку выше меня, а голова моя лежит у него на коленях. Я пребываю в полудреме, а он продолжает мне что-то рассказывать. И в то же время овеивает неизвестно откуда взявшейся газетой (это я, наверное, принесла из редакции еще один экземпляр его статьи) мое лицо. И делает это так нежно, так ласково. А может, и целует одновременно. Но и поцелуи какие-то не страстные, не жаркие, а как бы витающие, порхающие вокруг

моих волос, вокруг моих щек. Создающие эту восхитительную ауру добра, любви, нежности. В которой так сладостно дремать и ни о чем не думать. А вокруг нас – не то день, не то ночь, – прозрачная, мягкая дымка, серость летнего солнцестояния, которая не мешает нам видеть друг друга. Но поскольку полночь давно миновала, то все остальные люди спят. И мы наслаждаемся одиночеством вдвоем. Каким-то специально для нас существующим миром. Смутно помню, как мы поднимаемся на четвертый этаж. Как я отпираю дверь. Последние легкие прикосновения его губ к моим волосам, лицу. В квартире все спят. Я кое-как добредаю до нашей комнаты. Постель моя постелена бабушкой еще с вечера. Я полубессознательно сбрасываю одежду, падаю на тахту и мгновенно засыпаю.

Проснулась я, как ни странно, в полвосьмого. Пока завтракала, с пятого на десятое рассказала бабушке о вчерашней прогулке. Мне не хотелось никого пускать в себя. Надо было раньше разобраться – что же происходит в моей жизни? Нужно мне это? Хорошо это? Плохо? Или вообще не стоит серьезного внимания? Какие же чувства я испытываю к Генриху? Что-то прояснится, когда мы встретимся сейчас в трамвае?.. Но мой поклонник на остановку не пришел.

Рабочий день я прожила в тумане. Чисто механически правила какую-то статью, сидела на редакционном совещании. И все к себе прислушивалась... В конце концов решила, что произошедшее как-то сомнительно, слишком внезапно, чтобы заслуживать внимания. Перебирала буквально по слогам все, что рассказывал Генрих о своей жене, об их взаимоотношениях. Можно ли доверять подобным рассказам мужей, бросающих своих жен? Даже лучшим из них? Ведь они не только хотят предстать в удачном освещении перед новой возлюбленной. Они перед самими собой стремятся оправдаться. Хорошо бы в этом случае услышать вторую сторону. Но я должна была признать – Генрих старался быть объективным. О самом себе судил достаточно сурово. О жене не сказал ни одного грубого слова.

Но это все туры на колесах. Суета вокруг дивана. А что мы имеем на сегодня? До отбытия Иванова в Алма-Ату остается дней десять-двенадцать, а я еще не разобралась – как же я к нему отношусь? И советоваться ни с кем не хочу.

Я, между прочим, уже успела познакомить Иванова с Чижами. Это – мои ростовские друзья. Нет, в Ростове мы были скорее приятелями. Но когда мы, одновременно окончив вуз, приехали, перефразируя Лермонтова, «с милого юга в сторону северную», то потянулись друг к другу со страшной силой. Теперь у нас, кроме внутреннего сходства (одинаковые интересы, вкусы, принципы, взгляды; знание Марком наизусть целых кусков из «Бравого солдата Швейка» приводило меня в восторг, а его – моя феерическая начитанность, при ближайшем рассмотрении, весьма поверхностная; но кто же в молодости ищет глубины? блеск и разнообразие прежде всего), так вот, кроме духовно-душевных совпадений, у нас появилась общность биографии, географии и образа жизни. Надо еще учесть, что Чижи тоже умудрились поучаствовать в нашем знакомстве с Генрихом. Еще тогда, когда никто не подозревал о его существовании. Началось с того, что по приезде моем в Бийск, а их – в Новосибирск мы затеяли бурную переписку. Потом я несколько раз приезжала к ним в гости на праздники. А ко мне – Чиж. Правда, один раз и в единственном числе. И наконец, свой переезд в Новосибирск я затеяла специально для того, чтобы жить с ними в одном городе. Казалось бы, цели я достигла. Но дальше – больше.

Когда мы с бабушкой окончательно постановили менять наш центр с туалетом во дворе и водоразборной колонкой за два квартала, то искали вариантов именно в Кривошеково. Нет, не совсем так. Цепочка была извилистой. Во-первых, переезд именно в окраинный, вновь построенный жилмассив совершали по жестокой необходимости. При первом же ознакомлении с квартирным рынком стало ясно, что наша однокомнатная хибара без удобств может привлечь только тех, кто живет у черта на куличках. А новые жилмассивы в пятьдесят седьмом году существовали только в двух противоположных концах Новосибирска – в Заельцовском районе

и в Кировском (в смысле – Кривощеково). И первый обменщик подвернулся именно в Заельцовке. И мы с бабушкой даже затеяли с ним переговоры. Но тут вмешался еще один персонаж. Он еще поучаствует в этом приключении. Друг моего бийского друга. Впоследствии и мой друг. А тогда – только приятель. Тоже недавно переехавший в Новосибирск с молодой женой и получивший жилплощадь в том же Кривощеково. Он вдруг пришел к нам с бабушкой на дом. О, не просто пришел. Дело было зимой, а я как раз сильно болела, и Лерхе прискакал то ли дров нарубить, то ли угля натаскать. А может, и то и другое. И одновременно принес кусочек бумажки, который отодрал со столба как раз в своем Кривощеково. Люди хотели поменять на центр свою комнату в коммуналке. И как раз в Кировском районе. Где жил сам Лерхе. Где недавно поселился с семьей Сева Дуканич, о котором я уже упоминала. И, о счастье! Всего в трехстах метрах от Чижей! Конечно, мы сразу вцепились в этот вариант, послав к черту Заельцовку. И уже через два-три месяца, в мае пятьдесят восьмого года, переехали. И чуть ли не в эти же дни Генрих с женой прибыл из Томска именно на улицу имени Шестой пятилетки. Чтoб через год познакомиться со мной.

Так что Чижи не были единственными персонажами заключительных манипуляций судьбы. Но все же... Уж очень не только я, но и бабушка стремилась жить с ними по соседству. Прежде всего нас связывал Ростов. И вообще – за эти полтора года они стали не только главными моими друзьями, но и соучастниками нашей повседневной жизни. Как, впрочем, и мы – их. Тут и какой-то обмен услугами, помощь в житейских затруднениях, готовность разделить горе и радость. Верка приносила к бабушке заболевшего маленького сына, когда надо было отлучиться. Я покупала на их долю какую-то рыбу в военном городке. Чиж помогал мне отнести белье в прачечную. Верка подшивала длинноватое платье. И ходили мы всюду вместе. И на Давида Ойстраха. И на авторский концерт Кабалевского и Хачатуряна. И на тот самый фильм «Коммунист» в тот самый день, когда Надя забегала и сообщила Зое Гавриловне, что «рисунки принесет автор».

Короче, я просто уже обязана была сообщить Чижам о своем новом знакомстве. Ведь были же они в курсе моего длительного и неудачно завершившегося романа. И Верка очень радовалась его окончанию, потому что Рогов ей не нравился решительно и бесповоротно. До сих пор не могу понять причины такой яростной неприязни. Но именно поэтому она так обрадовалась переменам на моем личном горизонте. Ей, как большой любительнице всего определенного, хотелось, чтоб точка на моем прошлом была поставлена раз и навсегда. И в то же время, при ее закоренелой буржуазности, почему ее не смутило, не насторожило, что мой новый знакомый женат? Правда, много лет спустя Верка рассказывала, что после первого общения с Ивановым, которое и длилось всего час-полтора, они с Чижом решили: вот этот Инке подходит, не то что Рогов.

А знакомство состоялось какое-то тоже как бы подстроенное плохим кинорежиссером. Мы с Генрихом задержались в центре, то ли в кино, то ли загулялись. И он взял такси. И когда уже катили по Шестой пятилетке, мимо его дома к моему, я заметила идущих по тротуару Чижей (окна их дома прямо заглядывали в окна дома, в котором жили Ивановы). «Выйдем здесь!» – крикнула я. И мы вылезли. И я их познакомила. Лично. А по моим рассказам они были друг другу уже известны. Чижики все-таки уговорили заскочить к ним «на минуточку». Которая как раз и обернулась тем часом, когда обнаружилась наша подходящность. Впрочем, тогда они ничего такого не сказали, что могло бы повлиять на меня, и все это уже оставалось позади. А вот сегодня? После ночной исповеди? Какое же я в конце концов принимаю решение?..

Я вернулась с работы и застала бабушку в неважном состоянии. Оказалось, что прошлой ночью она таки переволновалась. Не спала, ну не до полтретьюго – время моего возвращения – но до полпервого. Решила днем прилечь, но замучила внезапно ударившая жара. А когда открыла окно – оглушил грохот панелевозов, таскавших целыми днями откуда-то с Затулинки

строительные блоки. Где-то начинали строить первые панельные дома. Кажется, на той же «Башне».

– А что же будет летом? В июле? Я же погибну от жары, – жаловалась бабушка. И мы принялись обсуждать варианты. Первый – поехать нам в отпуск в Ростов. Но пока у меня не решилось с журналом, я была привязана к Новосибирску. Второй – попробовать взять для бабушки путевку у меня на работе в военный санаторий в Боровое, где-то в Казахстане. Наши офицеры-журналисты эти места очень хвалили. Но это далеко от меня. Страшновато. И наконец, третий: снять ей комнату где-нибудь в лесу под Новосибирском, куда я смогу приезжать раза два в неделю. Неплохая идея. Узнать бы еще – где и как?

Но главное, что-то реальное и удачное нарисовалось. И бабушка приободрилась, накормила меня ужином, потом пошла на кухню мыть посуду. А тут Зоя Гавриловна позвала ее смотреть телевизор (Господи! До собственного ящика нам оставалось целых пятнадцать лет!). А я, вымыв в коммунальной ванной лицо, шею и ноги (не мешало бы после вчерашних скитаний искупаться вообще, но втайне я все-таки ждала визита Генриха и не хотела бы в это время быть в ненадлежащем виде), надела любимое голубое ситцевое платье и улеглась на диване с книжкой. Прежде долго думала, что бы такое взять в шкафу. Взгляд упал на «451° по Фаренгейту». Любимая, почти наизусть знакомая книга. Кстати, подарок Рогова. Но читалось плохо. Мешало некое беспокойство, раздражение. Причем непонятного происхождения. То, что Генрих не появился ни утром, ни вечером и даже в редакцию не позвонил, скорее всего, объяснялось тем, что он одумался, спохватился. Или, разбередив свое прошлое, почувствовал, что какие-то нити, связи не сносились. Да и вообще – несносимы. Я ведь по книгам знала, что любовь во многом строится на чувственности. И догадывалась, что у нас с Роговым ничего не вышло именно из-за отсутствия влечения. Но ведь и в сегодняшней ситуации я, во всяком случае, ничего похожего не испытывала. Так что слава Богу. Что было, то было, было и прошло. И прекрасно!.. Не надо ничего решать, выбирать. Ни с чем соглашаться. Ничего отвергать... Каждый вернется на круги своя...

Это моя голова так рассуждала, так себя уговаривала. А что внутри... Нет, не в области либидо. Там все тихо спало. А в какой-то тонкой сфере, которая зовется душой. Как раз там это беспокойство гнездились. Нет, скорее вакуум. Мне этого человека элементарно не хватало. Даже не знаю, чего именно: видеть, говорить, молчать, слушать? Да просто, чтоб он был в этой комнате. Дышать с ним одним воздухом... Сначала это были слабые импульсы, которые удавалось заглушить рассуждениями о бесперспективности ситуации. Размышлениями о моей вероятной фригидности. Вялым чтением Бредбери. Но постепенно мои эмоциональные, душевные страдания превратились в чисто физические. Я поняла, что если Генрих немедленно не предстанет «передо мной, как лист перед травой», что-то сейчас во мне разорвется. Может быть, сердце. Но не в переносном, возвышенном смысле. А вот эта туго набитая сумка в груди. Или легкие. Наверное, что-то похожее испытывает человек, которого пытаются полиэтиленовым мешком. Конец мой приближался...

И тут завизжал звонок. Я вцепилась в спинку дивана, чтобы не броситься в коридор. Но когда Генрих открыл дверь, даже не постучав, я, положив, не встала, но мысленно так рванулась навстречу, так была счастлива, что все дневные рассуждения и постановления были отменены в одну секунду. Новых я, конечно, никаких принять не успела. Но готова была погрузиться в любые перипетии, любые неожиданности, в любые сложности... Лишь бы они были. Лишь бы был он...

Наверное, все это отразилось, написалось на моем лице. Или я эти эмоции излучала. Потому что Генрих впервые повел себя у нас в доме раскованно. По-свойски. Увидев на диване Бредбери – тут же схватил. Так обрадовался: «Ты уже много прочитала?»

– Это я перечитываю. Книга для постоянного чтения.

– Не может быть! – Он аж засветился весь. – Я ее всего раз получил в руки от приятеля. Прошлой осенью. Но прочел дважды. Только тогда вернул. И вот странно... Последний месяц постоянно о ней думаю. Об этой книге. Я тебя с Клариссой отождествляю. Только не смейся!

Ну, как же было не смеяться? Я-то считала себя книжной, беспочвенной фантазеркой, сплетающей нереальные сюжеты, высасывающей из пальца чувства. И вдруг сама попала в выдуманные персонажи. Но что общего у меня с этой семнадцатилетней, бесплотной как дух, светящейся, как лунный луч, героиней Бредбери? Только страсть к чтению. Вот как он меня позиционирует! А Милдред, наверное, ассоциируется у него с женой. В общем-то совпадений много. (Я не подозревала, что даже сюжет с говорящими стенками позже появится.) Но Генрих – навряд ли Монтег. Так что всех нас может постигнуть разочарование.

Нет, не так связно я думала. Мелькнула тень мысли. А скорее всего – всплеск интуиции. И мы бурно заговорили о Бредбери, об американской фантастике, которая только вырвалась первыми книжками на прилавки магазинов. «Я – робот» Азимова, несколько рассказов Каттнера о Хогбенах, «Случай на Меркурии» в каком-то журнале.

Генрих спросил:

– А тебе не хочется написать что-нибудь эдакое фантастическое, мистическое? Мне последнее время чудится, что мистика витает не только в мировом пространстве, но и в повседневной жизни.

Я взялась объяснять, что мои вкусы, читательские и творческие, абсолютно противоположны. Мечтаю делать маленькие, а потом, может быть, и большие, но точные слепки с действительности. Истории живых людей. Таких разных. И прежде всего этим интересных. Фантастически интересных. Но реальных. И тут же пообещала дать ему свой рассказ, напечатанный два года назад в центральной газете, и записную книжку с «гениальными» планами, заметками, набросками. Генрих пришел в восторг от моей щедрости.

Вернулась от соседей бабушка, и пришлось пить чай. По-моему, они друг другу нравились. За чаем бабушка вдруг спросила – не подскажет ли Генрих, как коренной новосибирец, где стоит поискать частное жилье за городом? На месяц. Для нее. Он загорелся:

– Давайте мы с Инной в воскресенье съездим в Мочище. Лучше места не найти. Обь там чистейшая. Лес сосновый. И автобус ходит от центра до самого поселка.

После чая мы отправились на свежий (загазованный панелевозами) воздух. Все-таки какая-то скамейка, может быть, на территории близлежащего детского сада, нашлась. Мы на ней устроились. Теперь настала моя очередь исповедоваться. Задавал ли Генрих мне какие-то вопросы? Или чутье мне подсказывало – раз я не собираюсь прерывать это знакомство, то должна отплатить ему той же мерой искренности. Но что такого интересного я могла рассказать? Мою прекрасную бийскую жизнь, мою нежную дружбу с киевскими ребятами я уже по кускам, по эпизодам, по поводу и без повода выложила в нашей ранешней сумбурной болтовне. Со смехом поделилась своими юношескими влюбленностями. Ведь я, в отличие от Генриха, попала уже на раздельное обучение. И на филфаке ребят почти не было. Так что влюбляться приходилось в незнакомцев. На расстоянии.

– Но что примечательно, – рассказывала я, – стоило нам познакомиться, тем более – пообщаться – все чувства пропадали. Исчезали куда-то. В них, в парнях, не оказывалось ничего, что я нафантазировала. А мною никто не интересовался. И ведь я не урод какой-нибудь, – нахально заявила я. – Дефект где-то внутри сидит. Каких-то женских флюидов не хватает. Мне это один раз прямо сказали...

– Тот, кто это сказал, – законченный болван. Это в тебе-то женских флюидов не хватает?.. Ты просто не знаешь себя...

– Да нет... Он не болван.

Вот тут-то я стала подробно описывать наши отношения с Роговым. Нашу взаимную духовную и душевную привязанность. И в то же время... Я не знала, не умела тогда объяснить,

почему у нас ничего не вышло. Теперь-то я догадываюсь, что мешала моя фригидность. И когда на какой-то вечеринке я, поковыряв вилкой в тарелке, сказала: «Фу, котлета холодная», а Рогов зло буркнул: «Сама ты эта котлета», – он именно мою особенность имел в виду.

Теперь надо было сообщить последнее... Я этого не стеснялась. Но просто не могла подобрать слов. Мы с Роговым оба надеялись, что наша близость как-то прояснит, наладит, поможет сохранить, укрепить ту удивительную сердечную тягу. А вышло наоборот. Как-то обидно, оскорбительно. Антиэстетично. Во всяком случае, для меня. А для него, наверное, просто никак...

Меня опять удивило, как легко было все это Генриху рассказывать. Он даже иногда помогал мне словами. А потом совсем по-свойски, как-то по-домашнему, по-родному взял за руку.

– А ты и Рогов уверены, что разобрались в себе? – он говорил с высоты своих тридцати лет, несложившегося брака, случайных и неслучайных романов. – Первая близость часто бывает неудачной. Я, конечно, лицо заинтересованное. Я рад, что твоя любовь окончилась... Но окончилась ли? Я ведь прежде всего тебе счастья хочу...

Я сидела, съездившись, притихнув в этом коконе нежности, оберега. Потом тихо проговорила:

– Это все испарилось безвозвратно. То есть дружба осталась. Но никакого сексуального влечения нет. Да его и не было. Я тебе говорю – я для этих дел человек безнадежный. Даже хуже бесплотной Клариссы. Так что, если ты решил расстаться с женой, то на замену надо поискать кого-то другого.

– Глупая девочка, – сказал Генрих и погладил меня по волосам.

* * *

Поздно ночью я копаюсь в своих записных книжках. Выбираю, какую из них дать Генриху? Останавливаюсь на последней, в которой уже явственно присутствуют следы нашего с Роговым отплывания друг от друга. Есть даже сюжет рассказа с упоминанием «холодной котлеты». А вот стихи, написанные после роговских разговоров о том, что жениться все равно рано или поздно придется. Такие:

Радость бродячего щенка

И прихожу я в гости к вам,
И говорю вам: «Здрасьте!»
Машу приветно хвостиком
Твоей супруге Насте.
Обнюхиваю выводок,
Притихший на диване,
И тонко лыщу вам выводком,
Что дети сходны с вами.
Клыки улыбкой сжало
(Рычать в гостях некстати),
Выслушиваю жалобы
На мизерность зарплаты.
Я тьявкаю сочувственно
(От скуки сводит скулы).
И над былыми чувствами
Мы умиленно скулим.

Вот ночь в окне очутится,
Луна плывет за дачей...
И жизнь твоя мне чудится
Решенною задачей...

Кассандра, как позже обнаружилось, из меня получилась неважная. В супруги Рогов себе подобрал не Настю, а Люду. И зарплату получал всю жизнь хорошую, а уж жаловаться вообще не имел привычки. Особенно при наших редких, но всегда теплых встречах. Детей завел двоих. На выводок, притихший на диване, не походили – крупные, шумные парни. Да и с родителями мало схожие. Совпало только наличие дачи. И бережно поддерживаемые нами обоими дружеские отношения. Как-то в них и Генрих умудрился забраться, затесаться, стать их частью. И даже другом Рогова.

«Супруга Настя», с которой у меня сложились хорошие отношения, никак к нашей юности не присоединилась. Не захотела? Или не смогла?

А еще через двадцать страниц вдруг обнаруживаю такое восьмистишие:

Начинается самое-самое.
Начинается жизнь настоящая.
Все вопросы решаются заново –
И прошедшие, и предстоящие.
И любовь начинается новая.
Начинается, чтобы не кончиться.
И событий вихрем снова я
Управляю, как мне захочется.

Это что же я, после знакомства с Ивановым сочинила, что ли? Пытаюсь определить по текстам, окружающим эти беспомощные строки. Предшествует им конспект рассказа «Недо-разумение». Такой:

Героиня – Ниночка. Некрасивое, скуластое личико десятиклассницы, редкие зубы, вывернутые губы. Когда он увидел ее обнаженной, то удивился подарку судьбы: смуглое, нежное тело, маленькая, прекрасной формы грудь. Она не сопротивлялась, но и не льнула к нему. Она терпела. А все началось с любопытства – больно уж не похожа она была на других. Потом родилась чуть снисходительная, покровительственная с его стороны, но все же чистая дружба. Эта девочка не мыслилась ему женщиной. Она была слишком юной, забавной в своем дикарстве для этого. Мысль о близости пришла как шутка, как забавное искушение. Он был готов к отпору и принял бы его без обиды, даже с радостью. Ему нравились их отношения. Но отпора не было. Она все стерпела. Тоскливое недоумение им овладело. Это не было похоже на внезапное чувство подростка. Она была слишком холодна. И расчета тут никакого не было. Ее честность и гордость не вызывали сомнения. Он смотрел, как она одевается, как сдержанны, спокойны, полны достоинства движения ее юных женственных рук. Он должен был спросить – почему? Он не мог отпустить ее так. Но спросить не хватало духу. И все-таки он спросил, когда они уже вышли на улицу. Она ответила. О, вся его прошлая легкая жизнь, полная мимолетных связей, так хорошо сдобренная философией: «Им самим это больше нужно, чем мне», вдруг обернулась против него в чистом, правдивом ответе этой девочки. Нет, она не любила и не любит его. Но он так хорошо умел слушать и советовать. А ей так тяжело и одиноко. А на заводе ни для кого не секрет, чем кончаются все его отношения с женщинами. Она понимала, что он ждет платы за свое общество, и заплатила за доброе слово, за участие. Так, как он этого хотел. И ушла – спокойная, маленькая дикарка.

Цветок, выросший в мире пьяных драк, мещанских предрассудков. И он не посмел сказать, что и ему от нее ничего не было нужно. Ведь он сам создал себе такую славу, и теперь тернии кололи его. Вместо того чтобы показать этому ребенку, что не все на свете грязь (и ведь он знал по ее рассказам, в каком окружении она живет и какие у нее формируются взгляды), он только лишний раз утвердил ее в этом мнении. Он, который считал себя умным, честным, справедливым. Скверное состояние...

...Она была лет на десять-восемь моложе и выглядела ребенком, сестренкой, приехавшей в гости от бабушки. В сером платке. В куцем пальтишке с большим, длинноворсым воротником, в подшитых валенках. Она работала секретарем главного инженера, но ничем на обычных секретари не походила. Времени свободного было немало. И она сидела, уткнувшись в книжку. В приемной вместо валенок обувала туфли на низком каблучке. Носила темно-красный, начавший рыжеть жакет и синюю школьную юбку. Когда рассказывала о своей жизни, своей семье, то была философски спокойна. Неудачное замужество сестры, жадные братья, скандальные снохи, еженедельные попойки казались ей естественными, другого мира она не знала. На заводе жила одиноко, замкнуто. Гымер, который сам юность прожил нелегко, удивлялся ее детской серьезности, чересчур трезвому взгляду на жизнь. И в то же время полному неведению простых вещей и понятий. Маленький человек – цельный и чистый, обещающий в будущем стать личностью.

Так и остался этот конспект нереализованным. Это я хотела набросать реальный портрет реального Рогова, подрисовав к нему секретаршу редактора «Советского воина». О ней я знала очень мало, пробегая по редакционному коридору. Только внешний вид. И действительно – неременный книжный том перед глазами. Остальное все сочинила, опираясь на опыт общения с типографскими, общежитскими сибирскими девушками. Конечно, главным персонажем рассказа должен был стать Рогов (Гымер). Хотелось покопаться в его внутреннем мире. Изобразить его сложнее, чем в жизни. И в то же время послать предупреждение, предостережение... Лень помешала осуществить замысел.

А вслед за стихами шел такой набросок:

Рассказ «Жемчуг»

Ему было уже двадцать восемь, а все звали его в глаза и за глаза Петькой. Потому ли, что щуплый и мелкий, как мальчишка? То ли потому, что безотказно свойский: готов был подыграть на гитаре на любой вечеринке, прийти на помощь в любой ситуации. Одалживал вещи, деньги, кто бы ни попросил. Такой неременный персонаж общежитской, холостой, кочевой жизни. Уж его-то никто не мог представить солидным, семейным человеком. Петьку никто не принимал всерьез. И он не обижался. Хотя втайне, больше чем кто бы то ни было, стремился как раз обзавестись собственным домом. Но по женской части не ладилось. Как на грех, вкусы у Петьки были изысканные. Ему нравились девушки изящные и миловидные. Попав в компанию, он сразу примечал какую-нибудь миниатюрную, с большими глазами. И чтоб танцевала хорошо. Кроме завышенных требований к женской внешности, у Петьки были две страсти: музыка и котлы. Познакомившись с девушкой, Петька водил ее на симфонические концерты и рассказывал о циклонных котлах малой и большой мощности. Девушка терпела. И ждала продолжения. Но Петька не спешил. Он проверял свои и ее чувства. Тут появлялись друзья-монтажники. Красивые, высокие парни. Они уводили хорошенькую Петькину девушку в угол, говорили ей пошлые комплименты, тискали по мелочам (а то и не по мелочам). Потом забывали о девушке. И она рада бы вернуться к Петьке. Но он не мог простить измены. Он знал, что некрасив, немужественен. Но ведь это видно сразу. Зачем же было подавать надежды? А друзья добродушно подсмеивались над Петькой, над

его неудачами. И, кстати, над своими победами. И продолжали пользоваться Петькиной безотказностью. Впрочем, готовы были и сами помочь ему... В случае чего... Но случай как-то не предоставлялся...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.